

**МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ
НАУКИ**

ТОМСК — 1976

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

Выпуск XI

В сборнике помещены статьи, исследующие актуальные методологические и историографические вопросы исторической науки. С позиций марксистского историзма авторы рассматривают взгляды влиятельных представителей западноевропейской буржуазной историографии по актуальным проблемам истории. Наряду с этим в сборнике предпринимается попытка дальнейшей позитивной разработки самого понятия методологии истории. Сборник рассчитан на научных сотрудников, аспирантов и студентов старших курсов исторических факультетов, работающих в области методологии истории и историографии всеобщей истории.

РЕДАКТОРЫ:

Действительный член АПН СССР А. И. Данилов (ответственный редактор), профессор Б. Г. Могильницкий (зам. ответ. редактора), доцент Н. С. Черкасов

Б. Г. МОГИЛЬНИЦКИЙ

О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ «МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ»

Методология истории является сравнительно молодой, но быстро развивающейся отраслью исторического знания, которая привлекает все более пристальное внимание научной общественности. Исследования в области методологии становятся заметным явлением в советской исторической науке. Все шире делается круг проблем, разрабатывающихся в историко-методологической литературе. Наряду с историками в их изучение энергично включились философы.

Растущий фронт методологических исследований выдвигает новые проблемы, среди которых важное место занимает всестороннее определение самого предмета методологии истории. Настоятельная необходимость решения этой задачи обусловливается как общим состоянием историко-методологических исследований, так и потребностями их дальнейшего развития.

Теоретическая зрелость всякой науки в значительной степени зависит от развития ее понятийного аппарата. Научная строгость и определенность ее основных понятий, их универсальность и дифференцированность, логическая точность и внутренняя непротиворечивость составляют необходимую предпосылку поступательного развития каждой науки, претендующей на теоретическое осмысление своего материала. Разработка таких понятий является первоочередной задачей методологии всякой науки, в том числе истории.

Возникает, однако, вопрос о круге основных понятий нашей науки, подлежащих ведению методологии истории. Правомерность такой постановки вопроса определяется наметившимся известным несоответствием между распространенным в нашей литературе определением методологии истории и действительным содержанием историко-методологических исследований. Первое, как будет показано ниже, оказывается значительно уже второго, что, естественно, не способствует дальнейшему углублению осмысления предмета методологии истории. Успешное развитие марксистской методологии исторической науки требует концентрации ее усилий на решении кардинальных методологических проблем, что предполагает наличие достаточно четкого представления о содержании самого понятия «методология истории».

Между тем утвердившееся в советской литературе определение методологии истории, на наш взгляд, не дает в должной мере такого представления. Во всех ее дефинициях она определяется, главным образом, как научная дисциплина, изучающая методы и принципы исторического познания. С афористической четкостью такое понимание

методологии истории выразил Н. И. Смоленский, определив ее как «учение о методах исторического исследования»¹. В более развернутом виде оно было сформулировано К. Д. Петряевым. «Методология, — писал он, — это система существенных аспектов мировоззрения или теории (или ряда теорий), определяющих исследовательские принципы науки»². И в другом месте: «Методология — система исследовательских принципов, составляющих основу всех важнейших методов исторических и общественных наук»³. Не продолжая примеров, ограничимся формулировкой, которая дается Советской исторической энциклопедией. «Методология истории, — пишет автор этой формулировки М. Я. Гефтер, — теория исторического познания. Методология истории разрабатывает принципы и средства добывания знаний о прошлом, систематизации и истолкования полученных данных с целью выяснения сущности исторического процесса и реконструкции его во всей конкретности и целостности»⁴.

Приведенные выше формулировки справедливо указывают на важнейшую функцию методологии истории⁵. Действительно, изучение исследовательских методов и принципов составляет ее первоочередную задачу, о чем говорит уже самое наименование нашей дисциплины. Но исчерпывается ли этим все существенное содержание предмета методологии истории? Показательно, что так не считают даже авторы приведенных нами определений методологии, во всяком случае некоторые из них. Так, например, М. Я. Гефтер, перечисляя, по его выражению, коренные проблемы методологии истории, характерным образом начинает свой перечень с проблем, относящихся к выяснению природы исторической науки. Он говорит о предмете и границах исторической науки, соотношении ее с другими отраслями знания, ее социальной функции и т. п.⁶ Такая постановка вопроса представляется вполне правомерной, но не означает ли это, что в соответствии с ней должно быть приведено и самое определение методологии истории?

Если распространенные в нашей литературе определения методологии истории сужают действительное содержание ее предмета, то в исследовательской практике, напротив, нередко имеет место тенденция к неоправданно расширительному толкованию его. Назовем в качестве примера претендующую на более или менее систематическое освещение историко-методологической проблематики работу В. А. Дьякова, в которой эта тенденция получила особенно рельефное выражение. Указывая, что «одна из важнейших задач» его работы «заключалась в том, чтобы очертить круг проблем, входящих в методологию истории»⁷, автор включает в их число и проблему исторического факта (глава VIII), и «узловые вопросы теоретического источниковедения» (глава IX), и такую традиционно истматовскую проблему, как роль

¹ Смоленский Н. И. К вопросу о содержании и значении исторического метода в исторической науке. — В сб.: Методологические и историографические вопросы исторической науки, вып. 10, Томск, 1974, с. 17.

² Петряев К. Д. Вопросы методологии исторической науки. Киев, 1971, с. 8.

³ Там же, с. 19.

⁴ Советская историческая энциклопедия. М., 1966, т. 9, с. 387.

⁵ Нельзя впрочем не отметить внутреннюю противоречивость формулировок К. Д. Петряева. Читателю его книги остается непонятным, чем же все-таки является методология — «системой существенных аспектов мировоззрения или теории» или «системой исследовательских принципов». Наконец, едва ли можно согласиться с выводом, следующим из его второй формулировки, о существовании помимо исторического материализма некоей общей методологии всех общественных наук, в которой растворяется методология истории.

⁶ Советская историческая энциклопедия, т. 9, с. 388.

⁷ Дьяков В. А. Методология истории в прошлом и настоящем. М., 1974, с. 184.

народных масс и личности в истории (глава VI) и даже «смысл истории» (глава V).

Нельзя не видеть, что понимаемое таким образом содержание предмета методологии истории является достаточно неопределенным и аморфным. Если наряду с изучением метода и предмета исторической науки сюда включать, как предлагает В. А. Дьяков, и проблемы, которые принадлежат ведению других научных дисциплин, то возникают законные сомнения, имеет ли вообще методология истории свой собственный предмет исследования. В самом деле, если следовать логике автора рассматриваемой нами книги, то придется признать, что содержание предмета методологии истории включает в себя, по крайней мере частично, проблематику и теоретического источниковедения, и даже исторического материализма. Но это означает превращение методологии истории в некую условную рубрику для обозначения всех теоретических исследований в области истории, в каком бы плане и какой бы наукой они ни велись. Едва ли, однако, и сами сторонники неоправданно расширительного толкования предмета методологии истории согласятся с таким ее пониманием. Но отсюда вытекает необходимость четкого определения ее действительной проблематики.

Теоретические проблемы исторической науки и ее методологические проблемы — понятия отнюдь не тождественные⁸. В противном случае очевидно не было бы оправданным вообще существование методологии истории как самостоятельной отрасли исторического знания. Являлось бы достаточным наличие исторического материализма как общего метода всех общественных наук, в том числе истории, а также методики конкретного исторического исследования. Между тем, уже на проводившемся в 1964 г. совещании Секции общественных наук президиума Академии наук СССР, посвященном методологическим проблемам исторической науки, подчеркивалось, что существование исторического материализма не только не исключает, но и, напротив, предполагает развитие методологии истории как особой научной дисциплины⁹. Конечно, ее проблематика тесно связана с проблематикой исторического материализма, составляющей ее теоретический фундамент. Но тем важнее провести между ними известную разграничительную черту. Это необходимо уже потому, что методология истории, если она претендует быть самостоятельной научной дисциплиной, должна иметь свой собственный предмет исследования, не совпадающий с предметом других наук.

Если расширительное толкование предмета методологии истории ведет, по существу, к его растворению в предмете других наук (исторический материализм, теоретическое источниковедение и т. д.), то, напротив, ограничение его только исследовательскими методами и принципами неправомерно сужает его содержание. Методология истории превращается в «усеченную» дисциплину, в которой изучение методов исторического познания отрывается от исследования его природы. Хотя такой отрыв нередко (но далеко не всегда!) преодолевается в самой практике историко-методологических исследований, ее определение как учения о методе не ориентирует должным образом на всестороннее изучение природы исторического познания в организационной связи с его принципами и методами. Таким образом, в обоих случаях речь идет о необходимости более четкого определения понятия методологии исто-

⁸ На это обстоятельство указывает К. Д. Петряев. «Говоря о единстве теории и методологии,— справедливо подчеркивает он,— важно помнить, что каждая из них отличается своеобразием и их нельзя смешивать». Петряев К. Д. Цит. соч., с. 12.

⁹ Материалы совещания опубликованы в кн.: История и социология. М., 1964.

рии, которое позволило бы избегать смещения теоретических и методологических проблем исторической науки и вместе с тем содержало бы указание на круг вопросов, составляющих в своей совокупности действительное содержание ее предмета.

Решение этой задачи предполагает в первую очередь установление критерия, позволяющего различать теоретические и методологические проблемы исторической науки. Может возникнуть вопрос, не является ли такое разграничение надуманным, так как взаимосвязь этих проблем очевидна, более того, органична, и в конкретной исследовательской практике не всегда представляется возможным их разделение. Не случайно получило широкое употребление выражение «теоретико-методологические взгляды, предполагающее их рассмотрение как единое целое. За этой близостью, однако, скрывается существенное различие между методологическими и теоретическими проблемами исторической науки.

Теоретические проблемы истории, как представляется, охватывают широкий круг вопросов, связанных с изучением как общих закономерностей исторического процесса, его природы и движущих сил, так и теоретических проблем, возникающих при освещении конкретных исторических явлений и процессов. Первые носят общесоциологический характер и подлежат ведению исторического материализма. Вторые входят в содержание предмета исторической науки и соответственно этому исследуются историками, занимающимися изучением конкретной исторической действительности и претендующими на ее научное осмысление. Отнесение их к компетенции особой отрасли исторического знания, каковой является методология истории, означало бы неоправданное ограничение сферы деятельности ученого, занимающегося конкретным историческим исследованием, и противоречило бы сложившейся историографической практике. Действительно, всякая значительная историческая работа содержит теоретический анализ исследуемых вопросов. Чем более основательным и глубоким он является, тем существеннее ее вклад в развитие исторической мысли.

Рассмотрим в этом плане известный труд А. И. Неусыхина о генезисе зависимого крестьянства в раннесредневековой Западной Европе¹⁰. Автор рисует основанную на всестороннем и скрупулезном изучении источников впечатляющую картину классовообразования у германских племен, обитавших в континентальной части Западной Европы. Его книга является образцом конкретно-исторического анализа. А. И. Неусыхин тщательно прослеживает конкретные пути и формы разложения свободной общины и становления феодальных отношений у основных германских племен, входивших в состав Каролингской империи. Воссоздаваемый в книге процесс генезиса класса феодально-зависимого крестьянства поражает богатством деталей, позволяющих не только установить его последовательные фазы, но и раскрыть специфику феодализации различных германских племен.

Эти результаты достигаются, однако, не только благодаря мастерству анализа источников. Не менее важным фактором, обусловившим выдающуюся научную значимость книги А. И. Неусыхина, является ее высокий теоретический уровень. Книга насыщена теоретической проблематикой, решение которой образует существенное содержание всего исследования. Не говоря уже о постановке таких вопросов, как эволюция разных форм общины и аллода, специфика классовой борьбы крестьянства в раннее средневековье, и других, решение которых

¹⁰ Неусыхин А. И. Возникновение зависимого крестьянства как класса раннефеодального общества в Западной Европе VI—VIII вв. М., 1956.

составляет необходимую предпосылку понимания становления класса феодально-зависимого крестьянства. А. И. Неусыхин всем своим исследованием раскрывает важную историческую закономерность процесса феодализации германских племен в раннее средневековье. Применяв общие положения марксистского учения об общественно-экономических формациях к анализу конкретного исторического материала, А. И. Неусыхин на уровне исторической теории сумел дать убедительное объяснение сложному комплексу разнородных явлений, имевших место в реальной действительности раннесредневековой Западной Европы. Едва ли может быть хотя бы малейшее сомнение в том, что без этой теоретической стороны книга замечательного советского ученого при всем обилии содержащегося в ней фактического материала и мастерской его обработке не могла стать таким крупным событием в марксистской медиевистике, каким она является в действительности.

Сказанное можно отнести ко всем значительным трудам историков-марксистов. Какой бы конкретный сюжет в них ни разрабатывался, все они представляют органический сплав детального анализа источников и осмысления его результатов на уровне исторической теории. Впрочем, наличие «теоретической стороны» отнюдь не является уделом лишь выдающихся исторических произведений. Как справедливо подчеркивал еще Гегель, «даже обыкновенный заурядный историк, который может быть думает и утверждает, что он пассивно воспринимает и доверяет лишь данному, и тот не является пассивным в своем мышлении, а привносит свои категории и рассматривает при их посредстве данное»¹¹. Но это означает, что разработка теоретических вопросов исторической науки неотделима от конкретно-исторического анализа и не может быть передана в ведение специальной дисциплины, не занимающейся изучением исторической действительности в ее реальном многообразии. В противном случае мы сталкиваемся с опасностью двоякого рода. Отрыв разработки теоретических вопросов исторической науки от историографической практики, с одной стороны, ведет к понижению общего уровня исторических исследований, низведению их до разряда чисто описательных работ, а с другой — таит в себе угрозу беспочвенного теоретизирования, далекого от решения действительно актуальных задач, стоящих перед исторической наукой.

От теоретических вопросов истории, подлежащих ведению или исторического материализма, или собственно исторической науки, следует различать вопросы методологические, составляющие предмет особой отрасли исторического знания — методологии истории. Как уже говорилось, к их числу относится большой круг вопросов, освещающих природу и методы исторического познания. Перечень наиболее существенных из них удачно сформулировал А. И. Данилов. Это — «своеобразие процесса отражения действительности в исторической науке, природа исторических понятий, специфика их образования, философские, экономические и правовые категории в историческом исследовании, диалектика общего, единичного и особенного в историческом познании, процесс обобщения фактического материала в работе историка, методологические основы различных путей исторического исследования... теоретические принципы отбора, анализа и оценки исторических источников различного типа»¹². Другими словами, методологические вопросы истории — это вопросы гипсеологического характера, сводящиеся в конечном итоге к центральной двуединой проблеме — возможно

¹¹ Гегель. Соч., т. VIII. М.—Л., 1935, с. 12.

¹² Данилов А. И. О некоторых вопросах дальнейшего изучения теоретико-методологических проблем исторической науки.— «Вопросы истории», 1961, № 3, с. 217.

ли объективно-истинное познание прошлого и пути и условия его достижения.

Такая трактовка предмета методологии исторической науки находит свое теоретическое обоснование в самой природе материалистического понимания истории. В нашей литературе является общепринятой характеристика исторического материализма как всеобщего метода общественных наук, в том числе истории. Действительно, марксистская историческая наука в своем подходе к анализу явлений общественной жизни руководствуется основополагающими положениями исторического материализма. Именно в этой — методологической — сфере лежит коренное различие между марксистской и буржуазной историографией, определяющее все другие пункты расхождения между ними и делающее невозможной пресловутую конвергенцию в области исторической мысли. Но говоря об историческом материализме как методологической основе марксистской историографии, мы не должны упускать из виду, что он, как и всякая наука, имеет свой собственный предмет. Исследуя общие законы развития человеческого общества и формы их реализации в исторической деятельности людей, исторический материализм демонстрирует единство предмета и метода.

Разрабатывая коренные положения исторического материализма, основоположники научного коммунизма, как известно, последовательно применили принципы диалектического материализма к изучению явлений общественной жизни. Это не было механическим перенесением метода, выработанного для познания закономерностей развития природы, на изучение истории человеческого общества. Законы истории отнюдь не тождественны законам природы. Их познание потребовало разработки на твердом фундаменте материалистической диалектики метода, ориентированного именно на исследование явлений общественной жизни. Таким образом, в историческом материализме, выступающем в качестве всеобщего метода общественных наук, предмет и метод составляют органическое единство, что и обуславливает его выдающуюся научную результативность. Отсюда естественно заключить, что общий метод исторической науки, как можно охарактеризовать методологию истории^{12а}, образует такое же единство предмета и метода.

В процессе исторического познания гносеологические вопросы исторической науки неотделимы от теоретических. Их диалектическая связь находит свое выражение, в частности, в том, что одна и та же проблема имеет свой теоретический и свой методологический аспекты. Рассмотрим под этим углом зрения такую основополагающую в марксистской науке проблему, как проблема исторической закономерности. Ее методологический аспект заключается в исследовании природы исторической закономерности, ее соотношения с закономерностью общесоциологической¹³, способа ее познания и т. п. Теоретический же аспект состоит в изучении исторической закономерности как некоторой исторической реальности, имеющей определенную пространственно-временную характеристику, будь это генезис феодальной вотчины во Франкском государстве, крестьянская война в Германии или забастовочное движение в современных США. В первом случае историческая законо-

^{12а} См. В а р ш а в ч и к. Вопросы методологии историко-партийной науки. — «Вопросы истории КПСС», 1976, № 4, с. 92.

¹³ Развернутое обоснование положения о существовании специфических исторических закономерностей, которые не могут быть подменены общесоциологическими законами или сведены к ним, дал А. Я. Гуревич в статье «Об исторической закономерности», опубликованной в книге «Философские проблемы исторической науки» (М., 1969).

мерность исследуется в гносеологическом плане как категория исторической науки, во втором — как объективная действительность во всех ее реальных связях и опосредствованиях.

Очевидна органическая связь этих аспектов. Всякое изучение конкретной исторической закономерности предполагает наличие у исследователя определенных представлений о самой природе ее как исторической категории. Не менее очевидно, однако, и другое. Разные аспекты проблемы требуют различного подхода к их освещению. В одном случае историческая закономерность выступает как методологическая проблема, ее изучение конкретизируется вокруг гносеологических вопросов и имеет своей конечной целью выяснение оптимальных условий и путей ее познания. При этом, конечно, речь идет не о какой-нибудь конкретной закономерности, а об исторической закономерности как категории исторической науки. В другом случае речь идет именно об определенной закономерности, являющейся предметом конкретно-исторического исследования и требующей для своего обнаружения разностороннего анализа конкретного исторического материала и его обобщения на уровне исторической теории.

Рассмотренный нами пример позволяет заключить о важнейшем круге проблем, подлежащих ведению методологии истории. Она изучает категории исторической науки. Ее задача заключается в исследовании природы этих категорий, выяснении их познавательных возможностей, а также их соотношения с категориями общесоциологическими. Рассматривая ту или иную категорию исторической науки, будь это историческая необходимость или причинность в истории, историческая закономерность или всякая другая категория, необходимая для осмысления конкретной социальной действительности в ее существенных связях и тенденциях, методология истории шлифует и оттачивает инструментарий нашей науки, без которого невозможно получение объективно-истинного знания о прошлом.

Категориальный аппарат исторической науки методология исследует в тесной связи с ее методами и принципами. Категории, принципы и методы исторической науки образуют определенную содержательную целостность, являющуюся предметом исследования методологии истории. Изучая условия и способы достижения объективной истины в историческом познании, методология истории не может ограничиваться разработкой лишь некоторых из них, хотя бы и очень важных. Нельзя, например, ограничиваться изучением принципов и методов исторической науки и оставлять в стороне ее категории, так как сам процесс исторического познания представляет собою нерасторжимое единство всех его компонентов. Недостаточная разработка системы категорий исторической науки неизбежно сказывается и на степени разработанности ее принципов и методов, ибо природа последних тесно связана с характером первых. Не говоря уже о том, что самое признание или отрицание существования, например, исторической закономерности и необходимости обуславливает принципиально различный подход к пониманию самой сущности процесса познания, трактовка этих категорий влияет на понимание возможностей и границ применения того или иного метода.

Так, характеристика исторической закономерности как категории, отражающей объективную реальность, образуемую совокупностью действия объективных и субъективных факторов в общественном процессе, ставит определенные границы использованию в историческом познании методов естественных наук, ориентированных на качественный анализ изучаемых явлений. Выясняя действительные возможности

эффективного использования этих методов в изучении конкретных исторических закономерностей, возникающих в результате активной деятельности людей в общественном процессе, методология истории должна исходить в первую очередь из рассмотрения природы исторической закономерности. Только на основании глубокого проникновения в сам механизм образования этой закономерности возможно решение вопроса о выборе наиболее действенных способов ее изучения. Точно так же обстоит дело с анализом других методов исторического исследования. Его эффективность непосредственно зависит от того, насколько органически он связан с изучением категориального аппарата исторической науки. Такая связь является необходимой предпосылкой понимания действительных возможностей методов исторического исследования и обеспечения наиболее рациональных условий их применения.

Со своей стороны, научно плодотворное изучение исторических категорий предполагает неперенный учет возможностей и методов исторического исследования. Например, для того чтобы раскрыть содержание категории «историческая необходимость», показать ее действие в калейдоскопической смене совершающихся в общественной жизни событий, требуется применение таких методов, которые в своей совокупности позволили бы выяснить классовую природу изучаемых явлений, установить их место в общественном процессе, характер их связи с другими явлениями, их генезис и т. п. Только таким путем окажется возможным познать необходимые связи в общественном процессе, определить соотношение необходимых и случайных элементов в изучаемом явлении и тем самым установить его историческую необходимость.

Отсюда вытекает принципиально важный вывод о предмете марксистско-ленинской методологии исторической науки. Для того чтобы эффективно решать свою главную задачу, т. е. определять максимально результативные пути и средства объективно-истинного отражения исторической действительности, методология истории должна изучать принципы и методы исторического познания в тесной связи с его природой. Наряду с исследованием принципов и методов исторического познания сама его природа не в меньшей степени составляет предмет методологии истории, что должно быть отражено в ее определении.

Под изучением природы исторического познания мы понимаем не только исследование категориального аппарата исторической науки, но и выяснение большого круга вопросов, связанных с осмыслением самого исторического познания, как особой формы научного познания. Сюда входит изучение предмета истории, ее взаимоотношения с современностью, социальных функций исторической науки, ее отношений с другими науками и искусством и т. д. Другими словами, речь идет о круге вопросов, раскрывающих в своей совокупности специфику исторического познания. Изучая как то общее, что объединяет историю с другими формами познания, так и черты, их различающие, методология истории выясняет условия и предпосылки, обеспечивающие выбор и наиболее эффективное применение исследовательских принципов и методов.

Это, конечно, не означает, что значение каждой историко-методологической проблемы всецело определяется ее гносеологическим аспектом. Она может иметь большое и самостоятельное значение, отнюдь не сводящееся к выявлению познавательных возможностей исторической науки и путей их реализации, хотя и тесно с ним связанное, что и делает ее предметом историко-методологического исследования. Такая, например, проблема, как соотношение истории и современности,

сама по себе представляет выдающийся научный и общественно-политический интерес. Охватывая большое число вопросов, неизменно остававшихся актуальными на всем протяжении развития исторической науки¹⁴, она в своей сущности является проблемой социальной значимости исторического познания. Все связанные с ней вопросы концентрируются вокруг центрального — место истории в жизни общества. Тот или иной ответ на него имеет основополагающее значение для понимания как природы нашей науки, так и ее роли в обществе. Но тем самым эта проблема приобретает важный гносеологический аспект.

Таким образом, проблема взаимоотношения истории и современности, исключительно важная сама по себе, в то же время имеет большое гносеологическое значение. Ее осмысление является необходимой предпосылкой решения центральной гносеологической проблемы марксистской историографии — об условиях получения объективно-истинного знания о прошлом. В особенности сильно оно влияет на понимание принципов исторического познания, та или иная трактовка которых и даже самое признание или отрицание их существования зависит в решающей степени от истолкования природы взаимоотношения истории и современности. В противоположность релятивистским и презентистским взглядам о том, что каждое поколение заново переписывает историю, с одной стороны, и объективистским концепциям, ратующим за устранение всякого влияния настоящего на изучение прошлого, — с другой, марксистская методология истории исходит из того, что современность не только необходимо присутствует в нашем подходе к изучению прошлого, но и является предпосылкой его объективного отражения. Вопрос, следовательно, заключается не в том, нужно или нет элиминировать настоящее из изучения прошлого, а в выяснении условий, обеспечивающих научную плодотворность влияния современности на историческую науку, ибо, как хорошо известно, далеко не всегда оно является для нее благом.

Именно поэтому проблема соотношения истории и современности является методологической проблемой. Ее разработка непосредственно связана с исследованием принципов исторического познания. Их гносеологические функции могут быть четко определены лишь в связи с выяснением вопроса о характере взаимодействия исторической науки и современности.

Рассмотрим в этом плане такой основополагающий принцип марксистской исторической науки, как принцип коммунистической партийности. Этот принцип подвергается особенно ожесточенным нападкам со стороны буржуазных ученых за его мнимую ненаучность. Наши идеологические противники утверждают, будто он означает осовременивание истории, подчинение ее изучения определенным политико-идеологическим целям, рожденным современностью. В действительности, однако, речь идет не о подчинении настоящему прошлому, а об обращении к современности для лучшего понимания этого последнего. Принцип коммунистической партийности, обязывающий «при всякой оценке события прямо или открыто становится на точку зрения определенной общественной группы»¹⁵, необходимо предполагает выяснение механизма взаимодействия истории и современности. Выражая интересы определенной общественной группы, историк тем самым неизбежно отражает зафиксированные в них проблемы современной ему действи-

¹⁴ См.: Иванов В. В. Соотношение истории и современности как методологическая проблема. М., 1973, с. 5.

¹⁵ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 419.

тельности. Настоящее, воплощенное в известной сумме философских, политических, социальных представлений, которыми руководствуется историк, наконец, в общем уровне, достигнутом современной ему наукой, определяет не только общие принципы его подхода к изучению явлений прошлого, но и критерии, обуславливающие их оценку. Степень объективности такой оценки прямо зависит от глубины и основательности этих, коренящихся в современности, исходных позиций ученого.

Прочным достоянием всего марксистского обществоведения стало положение о том, что чем более прогрессивным мировоззрением вооружен ученый, тем шире его возможности объективно-истинного отражения явлений общественной жизни. Однако было бы недостаточным ограничиваться простой констатацией этого положения. Действительной методологической проблемой является исследование условий, обеспечивающих реализацию этого положения в историографической практике, что в свою очередь предполагает всестороннее изучение природы исторического познания. Только на основе такого изучения возможно эффективное использование в конкретно-историческом исследовании принципа коммунистической партийности, как впрочем и всех других методологических принципов марксистской исторической науки. Методология истории на основе тщательного исследования характера исторического познания призвана выяснить сам механизм действия принципа коммунистической партийности в исторической практике, в котором и осуществляется реализация влияния современности на историю.

В числе проблем, изучение которых раскрывает природу исторического познания, особое место принадлежит изучению предмета истории. Методологический характер этой проблемы несомненен. Четкое определение предмета всякой науки имеет первостепенное значение для правильного понимания ее познавательных возможностей и путей их реализации. Трудности, стоящие в этом отношении перед историей, усугубляются еще и потому, что она принадлежит к числу наук, имеющих нерасчлененный (с другими научными дисциплинами) объект исследования. В самом деле, сферу социального действия человека наряду с историей изучает целый ряд других общественных наук, что обуславливает не только их взаимодействие, но и постоянное «вторжение» одной в предмет других. Такое «вторжение», составляя зачастую необходимую предпосылку глубокого и всестороннего осмысления изучаемого явления, закономерно.

Особенно часто оно имеет место в истории, рассматривающей явления, которые, как правило, представляют собою сложный продукт разнопорядковых отношений. Их изучение неизбежно предполагает обращение историка к другим общественным наукам. История интегрирует данные этих последних, расширяя таким образом за их счет свой предмет исследования. Историк Октябрьской революции, например, рассматривая ее причины, характер и значение, непременно должен обращаться к философской, экономической, правовой и т. п. проблематике, закономерно включая ее в предмет своего исследования. Мы никогда не сможем понять такое событие всемирно-исторического масштаба, каким является Великая Октябрьская социалистическая революция, если в своем исследовании ее будем элиминировать от общих закономерностей исторического развития и специфики их реализации в конкретных условиях России начала XX века, законов капиталистической экономики и многих других проблем, непосредственно входящих в сферу ведения различных общественных наук и составляющих

в своей сопокупности обязательное условие научного объяснения истории Октября.

Конечно, приведенный пример является исключительным по своей масштабности. Но даже сравнительно простое историческое событие выступает в большинстве случаев конечным результатом действия сил, находящихся в сфере ведения других общественных наук, и прежде всего общих законов исторического процесса. Но это означает, что если исследователь, не желая ограничивать свою функцию простым описанием изучаемого явления, стремится его всесторонне осмыслить, он должен вторгаться в область других общественных наук, в особенности исторического материализма.

«Вторжение» истории в предмет исследования других наук¹⁶ порождает объективные трудности в определении ее собственного предмета. Нередко, главным образом философами, ему дается весьма расширительное толкование, вследствие чего история превращается в безбрежную дисциплину о прошлом человеческого общества¹⁷. Особенно часто расширительное толкование предмета истории обнаруживается в формулировках, практически отрицающих его качественное отличие от предмета исторического материализма. К сожалению, оно подчас встречается даже у историков, к тому же получивших известность именно своими конкретно-историческими исследованиями. Сошлемся на выступление Б. Ф. Поршнева на уже упоминавшейся дискуссии по методологическим проблемам исторической науки, в котором он отказывался «провести какую-либо демаркационную линию между историком и истматчиком-социологом в том смысле, что последний разрабатывает, исследует социологические законы, а историк — нет». Усматривая функцию исторической науки в открытии закономерностей общественного развития, Б. Ф. Поршнев расценивает всякое конкретно-историческое исследование лишь как некий эксперимент на пути создания общесоциологических построений и устанавливает между учеными, занимающимися социологическими проблемами, и теми, кто проводит конкретно-исторические исследования, такое же соотношение, какое существует между физиками-теоретиками и физиками-экспериментаторами¹⁸.

Такая постановка вопроса в своем логическом развитии фактически ведет к отрицанию за историей права иметь свой собственный

¹⁶ Не только общественных. Рассматривая развитие науки и техники как один из важных аспектов развития общества, историк в той или иной мере вынужден вступать и в сферу естествознания.

¹⁷ Так, Гулыга А. В. определяет историю как «науку, изучающую прошлое человеческого общества» (Гулыга А. В. Эстетика истории. М., 1974, с. 4). Очевидно, что далеко не всякое прошлое, тем более «во всей его конкретности и многообразии», как указывается в определении истории, которое дается в новом издании Большой советской энциклопедии (см.: БЭС, изд. 3, М., 1972, т. 10, с. 575), может быть и должно быть предметом исторической науки. Подобные определения не только не содержат четкой формулировки действительной проблематики исторической науки, но и ставят перед ней явно неосуществимые задачи. Изучить прошлое человеческого общества во всей его конкретности и многообразии просто невозможно. История изучает лишь определенные аспекты прошлого, что и должно найти отражение в формулировке ее предмета исследования.

¹⁸ История и социология. С. 153—154. Взгляд, отрицающий качественное различие между предметом исследования истории и социологии (исторического материализма), имеет место и в зарубежной марксистской литературе. Так, Бобинская Ц. видит различие между историком и социологом по существу лишь в том, что первый транспортирует в прошлое проблемы, которыми применительно к современному обществу занимается последний (см.: Bobinska C. Historiker und historische Wahrheit. Zu erkenntnistheoretischen Problemen der Geschichtswissenschaft, Berlin, 1957, с. 95—96).

предмет исследования, с чем согласиться невозможно. Как и всякая наука, история имеет свой собственный предмет исследования¹⁹, и одна из важных задач методологии истории заключается в максимально точном его определении. Это особенно необходимо как раз вследствие распространенности расширительного толкования предмета истории. Его возможно более четкое вычленение в рамках объекта исследования, общего всем социальным наукам (развитие человеческого общества), позволяет концентрировать усилия исторической науки на решении тех задач, которые в наибольшей степени соответствуют природе исторического познания, и тем самым увеличить их эффективность.

Но дело не только в этом. С предметом каждой науки тесно связан ее метод. Выбор наиболее рациональных для данной науки познавательных средств определяется ее предметом. Нет метода, нейтрального по отношению к предмету. Эффективность его действия далеко не в последнюю очередь обуславливается его соответствием природе данной науки. Если признать, что в формулировке предмета всякой науки содержится в самом общем виде указание на ее познавательные цели, то можно утверждать, что проблема предмета и метода — это проблема соответствия цели и необходимых для ее достижения средств. Но это означает, что предмет каждой науки подлежит ведению ее методологии в такой же мере, как и имеющиеся в ее распоряжении исследовательские методы и принципы.

Положение об органической связи между предметом и методом справедливое для всех отраслей научного знания, в силу мировоззренческого характера истории имеет для нее особенно большое значение. Очевидно, что историко-партийная проблематика требует для своего изучения другие методы, чем, например, история техники. Анализ явлений общественной жизни не может осуществляться теми же способами, что и исследование процессов, совершающихся в мире природы. Но отсюда следует, что изучение принципов и методов исторического познания не должно происходить в отрыве от изучения самой природы этого последнего как специфической формы научного познания вообще. Только уяснив специфику предмета научного познания, можно успешно разрабатывать адекватную ему исследовательскую методику.

Очевидно, что разработка круга вопросов, относящихся к принципам и методам исторического познания, должна идти рука об руку с исследованием его предмета. Они не могут рассредоточиваться по разным «ведомствам». Именно методология истории и представляет нам той научной дисциплиной, которая должна объединять в своих рамках неразрывно связанные между собой исследования в области метода и в области природы исторического познания. Только в таком случае она станет подлинной теорией исторического познания. Ведь теория познания, если она не хочет превратиться в набор бессодержательных, схоластических сентенций, должна основывать свои суждения о принципах и методах исторического познания на твердом фундаменте марксистско-ленинского исследования его природы.

Лучшим подтверждением этому служит сама исследовательская практика в области методологии истории. Закономерную неудачу терпят всякие попытки, под каким бы флагом они ни предпринимались, разрабатывать методологические проблемы исторической науки, игно-

¹⁹ На наш взгляд, определение марксистской исторической науки должно исходить из того, что история исследует конкретные, ограниченные определенными пространственно-временными рамками закономерности общественного развития, являющиеся продуктом человеческой деятельности, а также существенные проявления этой деятельности и ее объективные предпосылки и результаты.

рируя специфику ее предмета. Магистральным путем в развитии марксистско-ленинской методологии истории является исследование гносеологических проблем в неразрывной связи с углубленным изучением самого предмета нашей науки. Именно он характерен для трудов, определяющих уровень разработки методологических проблем в советской исторической науке.

**
**

На основании всего сказанного выше мы считаем возможным определить методологию истории как научную дисциплину, изучающую природу, методы и принципы исторического познания. Такая формулировка не претендует на внесение в нашу литературу принципиально нового понимания предмета методологии. Речь идет лишь о приведении ее определения в соответствие с исследовательской практикой. Думается, что самое присутствие в определении методологии истории указания на то, что она изучает природу исторического познания, будет способствовать оживлению исследований в этой сфере, что в последнем счете должно вести к обогащению нашего понимания познавательного арсенала исторической науки.

П. Ю. РАХШМИР

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ФАШИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ БУРЖУАЗНОЙ НАУКЕ

Стремление преодолеть теоретический кризис, сравнительное изучение национальных вариантов фашизма, поворот к анализу структуры фашистских режимов — все это усилило процесс проникновения в буржуазную историографию фашизма методов социологии, политологии, социальной психологии. Тенденции к сочетанию методов истории и других социальных наук благоприятствует также гегемония буржуазно-либерального направления с его гибкими установками, расплывчатыми границами. Исследование фашизма, как подчеркивает английский ученый С. Вульф, «представляет идеальное место встречи историков, политологов, социологов и экономистов». Комплексная реальность фашизма «превращает в бессмыслицу искусственные перегородки, воздвигнутые учеными, и вынуждает их... расширять масштаб исследований в междисциплинарном плане»¹. Элементы социологического подхода наблюдаются в работах как обобщающего, так и детализирующего типа: первые опираются на опыт типологии, моделирования, а вторые — на методику «исследования случая».

Если социологические интерпретации 30—40-х гг. были связаны преимущественно с анализом массового базиса фашизма, то теперь они все чаще складываются в ходе попыток буржуазных ученых определить место и роль фашизма в процессе социально-экономического развития современного мира. Смещение центра тяжести в социологическом истолковании фашизма вызвано тем, что буржуазные ученые остро ощущают необходимость противопоставить марксистско-ленинской науке какую-то концепцию глобального масштаба, которая включила бы фашизм в более широкую систему связей. Правда, крен в эту сторону беспокоит некоторых историков, в частности известного итальянского ученого Р. Де Феличе. Эта группа ученых опасается, что в необъятных пределах теорий «массового общества», «модернизации» и т. д. тускнеет роль средних слоев, олицетворяющих собой, по словам Де Феличе, «истинный оплот фашизма»².

Новейшие социологические интерпретации фашизма базируются на теории «модернизации», которая входит в обширный комплекс теорий «индустриального общества». Под термином «модернизация» его приверженцы подразумевают процесс перехода к «индустриально-

¹ The Nature of Fascism. London, 1968, p. 4—5.

² Il problema storia del fascismo, Firenze, 1970, p. 57.

му обществу»³. Смена формаций, классовая борьба, научно-технические сдвиги, институциональные изменения, культурное развитие — все это растворяется в широкой до бессодержательности категории, политический смысл которой заключается в том, чтобы «подменить марксистское положение о замене капитализма более высоким социально-экономическим строем — социализмом»⁴.

С помощью теории «модернизации» буржуазные ученые пытаются придать своим истолкованиям фашизма «социоэкономический» колорит, призванный повысить их конкурентоспособность в борьбе против марксистско-ленинской исторической науки. «Что касается причинных факторов социоэкономического характера, — утверждает американский историк Г. Э. Тернер, — теория модернизации может обеспечить более удовлетворительную концептуальную основу, чем марксистская доктрина «монополистического» или «позднего» капитализма»⁵.

Ключевой момент «модернизации» — экономический рост, индустриальное развитие. Фашизм предстает как явление, сопутствующее этому процессу. Однако среди многочисленных ученых, взявших на вооружение сравнительно новую «теорию», нет единства по вопросу о том, какую же роль играет фашизм в процессе «модернизации»? Одни (Р. Сартри, А. Д. Грегор, Ю. Вебер, Л. Гарруччио) считают его рычагом «модернизации», другие (Б. Мур, А. К. Органский, Д. Каутский, В. Зауэр, Г. Э. Тернер) подчеркивают антимодернизаторскую функцию фашизма. Кроме того, и в рамках каждой группы имеется множество оттенков и нюансов, разногласий и противоречий.

Американский историк Р. Сартри упрекает Б. Мура, В. Зауэра, а также и Э. Нольте за непонимание «важности прогрессивных импульсов, содержащихся в фашизме». «Модернизаторские импульсы», как полагает Р. Сартри, были «истинным ядром фашистского опыта в Италии»⁶.

Итальянский ученый правокатолической ориентации Л. Гарруччио подчеркивает, что при анализе фашизма необходимо исходить из его связи с переходом от «традиционного» аграрного общества к обществу «индустриальному»⁷. Отдельные разновидности фашизма Гарруччио связывает с различными фазами формирования и развития «индустриального общества». Но о каком бы типе фашизма не шла речь, все они у Гарруччио в той или иной мере являются двигателями «модернизации».

Как попытку затормозить «модернизацию» расценивает фашизм американский социолог А. К. Органский. Эта попытка, пишет он, оказалась неудачной, и «фашистская система просто отсрочила некоторые из тех эффектов, которые она стремилась предотвратить»⁸. Другой американский социолог Б. Мур видит в фашизме следствие «консервативной модернизации», свойственной странам, не пережившим успешной буржуазной революции, и в то же самое время орудие осуществления модернизации такого типа⁹. С социальной точки зрения и Органский, и Мур связывают фашизм главным образом с интересами традиционной консервативной элиты. Такого же взгляда придерживается американский ученый Д. Каутский. Фашистские режимы, по его сло-

³ О категории «модернизация» см.: Б. И. Марушкин. История и политика. М., 1969.

⁴ Там же, с. 151.

⁵ «World Politics», 1972, vol. XXIV, N 4, p. 559.

⁶ «The American Historical Review», 1970, vol. LXXV, № 4, p. 1029, 1031.

⁷ «Il Mulino», 1971, № 213, p. 54.

⁸ The Nature of Fascism, p. 41.

⁹ Moore B. Social Origins of Dictatorship and Democracy. Boston, 1966, p. 109.

вам, не будучи сами по себе аристократическими, служат для аристократии «последней защитой против последствий индустриализации»¹⁰.

В интерпретации Г. Э. Тернера фашизм — это «утопический анти-модернизм». Сущность его в «экстремистском мятеже против современного индустриального общества и стремлении вернуться к далекому «мифическому прошлому»¹¹. Наиболее полное воплощение он нашел в идеологии германского нацизма. На практике же и нацисты объективно содействовали процессу «модернизации». Они, по словам Тернера, «практиковали модернизацию, чтобы добиться своих фундаментально антимодернизаторских целей»¹².

Основные положения Г. Э. Тернера преломляет в политической биографии Гитлера западногерманский автор И. Фест. В теории «модернизации» он находит критерий для оценки роли и места нацистского фюрера в истории. В Гитлере, по мнению Феста, слились воедино поборник архаики и революционер. Если даже субъективно Гитлер преследовал архаические цели, то на практике «он парадоксальным образом только и сделал возможной модернизацию»¹³. «Место Гитлера в истории, — заявляет Фест, — гораздо ближе к великим революционерам, чем охранителям существующего положения вещей, консервативным властителям»¹⁴. Следовательно, с точки зрения теории «модернизации» Гитлер выступает как сила, в конечном счете способствовавшая поступательному движению истории, поскольку «модернизация» отождествляется буржуазными учеными с социальным прогрессом.

Безоговорочно провозглашает фашизм «модернизаторской» силой американский ученый А. Д. Грегор. Он оперирует высказываниями фашистских лидеров и идеологов, призывавших к росту экономического могущества Италии, к технократической перестройке производственного и административного аппарата. Символом «модернизации» выглядит сам дуче: «Муссолини, пилотирующий собственный самолет и мчащийся по холмам Италии в своем красном спортивном автомобиле, публично демонстрировал этот модернизаторский дух»¹⁵.

Именно итальянский фашизм Грегор называет «парадигматическим», то есть наиболее полно воплощающим родовые черты явления. Фашистская Италия как «модернизаторская» система явилась, по мнению американского автора, образцом для развивающихся стран, которые в своих попытках преодолеть экономическую отсталость якобы обнаруживают поразительное сходство с муссолиниевским режимом¹⁶. Основной фашистский потенциал современности Грегор как раз и размещает в странах «третьего мира», которые в процессе «модернизации» будто бы должны в той или иной мере повторить путь муссолиниевской Италии. Таким образом, в трактовке Грегора взаимосвязь между фашизмом и «модернизацией» обретает телеологический оттенок. В фашистское русло у него вливаются различные потоки революционного и национально-освободительного движения. В один генетический ряд с фашизмом Грегор включает идеологию и политическую практи-

¹⁰ Kautsky J. H. The Political Consequences of Modernization. New York, 1972, p. 210.

¹¹ «World Politics», 1972, vol. XXIV, № 4, p. 561, 564.

¹² Ibid., p. 561.

¹³ «Die Zeit», 12.X. 1973, S. 26.

¹⁴ Fest J. C. Hitler. Eine Biographie. Frankfurt a. M., (West) Berlin, Wien, 1973, S. 1035.

¹⁵ «World Politics», 1974, vol. XXVI, № 3, p. 377.

¹⁶ Gregor A. J. The Fascist Persuasion in Radical Politics. Princeton, 1974, p. 398—399.

ку стран, ставших на путь некапиталистического развития. Такое неправомерное расширительное истолкование фашизма является фактически модернизированным вариантом пресловутой концепции «тоталитаризма».

В оценке перспектив фашистской угрозы позиции сторонников и противников тезиса о «модернизаторском» характере фашизма весьма близки. С точки зрения В. Зауэра, «социально-экономическое развитие в высокоиндустриальных странах Запада исключает возникновение условий для фашизма»¹⁷. Предпосылки для него могут сложиться лишь в странах «третьего мира», где только начинается процесс индустриального развития. Проблемы «модернизации», с которыми сталкивался фашизм, мало отличаются, по мнению Р. Сарти, от тех, которые стоят теперь перед слаборазвитыми странами¹⁸. Не исключая полностью фашистской опасности для развитых стран, американский ученый А. Д. Джоус полагает, что наиболее благоприятное политическое будущее у фашизма в странах «третьего мира»¹⁹. Недооценка реальных возможностей неофашизма в развитых капиталистических странах, свойственная подобным интерпретациям, способствует дезориентации общественного мнения Запада, благоприятствует деятельности неофашистских партий и групп.

Интерпретации фашизма на основе теории «модернизации» не носят научного характера. Под претенциозной «социально-экономической» оболочкой скрывается традиционный субъективно-идеалистический подход. Характер фашистских движений и режимов, их место в историческом процессе определяются в конечном счете, исходя из идеологии лидеров и смутных устремлений массовой мелкобуржуазной базы. При всем разнообразии трактовок фашизм выступает в качестве силы, вольно или невольно содействовавшей прогрессивному развитию. Такого рода прямая или косвенная реабилитация «традиционного» фашизма оказывает серьезную услугу современным неофашистам. Теория «модернизации» явно не оправдывает тех надежд, которые возлагали на нее представители буржуазной историографии фашизма. «В то время как теория тоталитаризма, к сожалению, обнаружила свою расплывчатость и концептуальную рыхлость, — признает Грегор, — теория модернизации является, к несчастью, едва ли менее неясной и двусмысленной»²⁰.

Не отличаются оригинальностью и современные социально-психологические интерпретации фашизма. Они в основном топчутся вокруг тех идей и концепций, которые были выдвинуты еще в 30—40-е гг. Еще сильнее, чем прежде, ощущается влияние психоанализа²¹. Показательно, что среди западных исследователей фашизма наиболее популярна концепция В. Райха, абсолютизовавшего относительную самостоятельность психологического и идеологического факторов в процессе генезиса фашизма²². «Ренессанс» идей Райха во многом объясняется теми же самыми причинами, что и популярность концепции А. Тальгеймера, в основе которой лежит отождествление фашизма

¹⁷ «The American Historical Review», 1967, vol. LXXIII, № 2, p. 422.

¹⁸ «The American Historical Review», 1970, vol. LXXV, № 4, p. 1029.

¹⁹ «Comparative Political Studies», 1974, vol. 7, № 1, p. 125.

²⁰ «World Politics», 1974, vol. XXVI, № 3, p. 370.

²¹ См.: Салов В. И. Вторжение психоанализа в буржуазную историографию. — «Новая и новейшая история», 1972, № 4.

²² О взглядах В. Райха и прочих социологических и социально-психологических концепциях 30—40-х гг. см. подробно: Рахшмир П. Ю. Классовая борьба на первом этапе общего кризиса капитализма и формирование буржуазной историографии фашизма. — «Ученые записки ПГУ», № 344. Пермь, 1975.

с бонапартизмом²³. Постоянно усиливающееся воздействие марксистско-ленинской исторической науки, ее достижения в исследовании фашизма ставят буржуазную историографию в затруднительное положение. Выпутаться из него буржуазные историки стремятся, используя в борьбе с марксистским пониманием фашизма всякого рода псевдомарксистские трактовки. Подобная тенденция особенно явственно прослеживается у буржуазно-либеральных и реформистских авторов, которые благодаря этому рассчитывают выглядеть более выигрышно и солидно на фоне оголтелых «сокрушителей» марксизма, слишком откровенно демонстрирующих свое убожество. Не удивительно, что Райх оказался ценной находкой для современной буржуазной историографии фашизма. Ведь в бурной биографии австрийского психоаналитика был и «марксистский период».

Непоколебим авторитет интерпретаций корифеев американской социологической мысли Г. Лассуэлла и Т. Парсонса. Американский ученый А. А. Рогоу характеризует очерк Лассуэлла «Психология гитлеризма», написанный еще в 1933 г., как «один из наиболее ранних и глубоких анализов нацизма». Работа Лассуэлла ничуть не устарела и «получает подтверждение с каждым новым исследованием»²⁴. Для понимания движений фашистского типа важным познавательным оружием, по мнению американских социологов С. М. Липсета и Э. Раба, является разработанное Т. Парсонсом понятие «аномия»²⁵.

Сохраняя тесную связь с прошлым, социально-психологические интерпретации не могут не испытывать воздействие со стороны модных современных социологических концепций. Чаще всего социально-психологические предпосылки фашизма рассматриваются как следствие процессов «модернизации» и «социальной мобилизации». Психика людей не поспевала за маршем современной цивилизации. Отсюда настроение неуверенности и страха. Такое настроение американский историк Н. Нягу-Талавера называет первостепенным ингредиентом фашизма, «возникающим на определенной стадии процесса модернизации»²⁶. Чувство подавленности, неуверенности, страха склонен считать ценой «модернизации» западногерманский ученый И. Фест²⁷.

В самом деле, уродливое развитие капиталистического общества создает подходящую почву, особенно среди промежуточных слоев, для социального страха, психологического стресса. Но буржуазные историки трактуют «модернизацию» как глобальный процесс, охватывающий общество в целом. Социально-психологические предпосылки фашизма как одно из последствий этого процесса включаются в абстрактную схему, теряя историческую конкретность и связь с эволюцией капитализма. За несколько подновленной терминологией без труда опознаются очертания старых теорий «культурного отставания» и «массового общества».

Осмыслить социально-психологические аспекты фашизма в духе современных теоретических веяний попытался западногерманский ученый К. Хорн. Провозглашенная им цель — преодоление односторонности и ограниченности представлений о социальной психологии фашизма, свойственных как буржуазной историографии в лице ее консервативных и либеральных представителей, так и марксистской науке.

²³ Лоцек Г. О концепциях фашизма в буржуазной историографии ФРГ — «Ежегодник германской истории 1972». М., 1973.

²⁴ Politics, Personality and Social Science in the Twentieth Century. Essays in Honor of Harold Lasswell. Chicago—London, 1969, p. 134.

²⁵ Lipset S. M. and Raab E. The Politics of Unreason. New York, 1970, p. 157.

²⁶ Nagy-Talavera N. M. The Green Shirts and the Others. Stanford, 1970, p. 371.

²⁷ «Der Spiegel», 16.VI. 1969.

Если буржуазные историки переоценивают момент стихийности, то марксисты и близкие к ним ученые, наоборот, придают чрезмерное значение манипулятивному моменту.

Марксистской теории, бездоказательно утверждает Хорн, свойствен «наивный рационализм Просвещения». Из этого вытекает ее пренебрежительное отношение к психологии и субъективным факторам вообще. Марксисты, по Хорну, будто бы не в состоянии понять суть такого явления, как фашизм, поскольку оно содержит в себе изрядную дозу иррационального²⁸. При этом социально-психологическая подоплека нацизма сводится к антисемитизму.

Избирая антисемитизм в качестве центрального узла социально-психологической проблематики фашизма, Хорн вопреки собственным намерениям невольно подтвердил существенную роль манипулятивного момента при создании почвы для фашизма. Антисемитизм паразитировал на темноте тех или иных социальных слоев, на пережитках средневековья с его инквизицией и охотой за ведьмами. Антисемитская пропаганда всегда служила в руках господствующих классов средством отвлечения масс от их насущных интересов, средством затухания классовых антагонизмов. Верхушечный характер антисемитизма постоянно подчеркивали классики марксизма-ленинизма. Германский антисемитизм конца XIX в., чьи идеологи по праву считаются предтечами нацизма, Ф. Энгельс определил как «движение, инспирированное сверху»²⁹. В. И. Ленин указывал, что антисемитизм — оружие в руках правительственных кругов и эксплуататорских классов³⁰.

Демагогический, манипулятивный характер антисемитизма бросался в глаза некоторым буржуазным и социал-реформистским ученым. С ними Хорн активно полемизирует. М. Хоркаймера он критикует за слишком серьезное отношение к политико-манипулятивному элементу антисемитского курса, недооценку его иррационализма. Достается и Ф. Нойману за то, что он характеризовал антисемитизм как демагогический трюк³¹.

Особенно резкие и необоснованные обвинения обрушиваются на историков-марксистов, чьи взгляды, как обычно, предварительно примитивизируются. На самом же деле марксистской историографии чужда мысль о том, что возникновение социально-психологических предпосылок фашизма объясняется лишь виртуозной демагогической пропагандой. Об этом недвусмысленно говорит А. А. Галкин: «...даже самая изощренная идеологическая обработка, как и применение наиболее эффективных пропагандистских методов, не может обеспечить положительных результатов, если по своему содержанию она в той или иной степени не является откликом на какие-то запросы и стремления масс, не связана с реальными социально-психологическими процессами, происходящими в обществе». И если фашистам в Германии и Италии удалось мобилизовать массовую базу, то именно потому, «что они сумели оценить и использовать эти процессы, потому, что эти процессы содержали элементы, благоприятствующие распространению фашизма»³².

Несмотря на амбициозную декларацию, Хорну не удалось установить действительное соотношение стихийного и манипулятивного мо-

²⁸ Horn K. Sozialpsychologische Aspekte des Faschismus.— «Fasismus a Evropa». Praha, 1970, s. 114.

²⁹ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 35, с. 174.

³⁰ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 7, с. 245.

³¹ Fasismus a Evropa, s. 146.

³² Галкин А. А. Социология неонацизма. М., 1971, с. 56—57.

ментов в социально-психологических предпосылках фашизма. Он не далеко ушел от тех буржуазных ученых, которые были подвергнуты в его работе критике за переоценку стихийности. Сведение социально-психологических аспектов нацизма главным образом к антисемитизму резко сужает трактовку Хорна. По его собственному признанию, «антисемитизм не был интегральной составной частью всех фашистских движений»³³.

В Италии расистское законодательство было введено под нажимом северного союзника в конце 30-х гг. У Э. Тенненбаума есть основания утверждать, что антисемитизм итальянских фашистов был в значительной мере «субпродуктом оппортунизма Муссолини, принесшего итальянских евреев в качестве жертвы на алтарь союза с нацистами»³⁴. По «еврейскому вопросу» обнаружились большие расхождения между фашистами различных стран во время собрания в Монтрё (16—17 декабря 1934 г.), когда была предпринята попытка создать нечто вроде фашистского «интернационала»³⁵.

Общей чертой фашистских движений и режимов был крайний национализм, сплетавшийся воедино с империалистическими устремлениями, а также с планами преодоления классовых противоречий в рамках единой «великой нации». Поэтому смысл и социально-политическую функцию антисемитизма можно верно оценить лишь в контексте фашистского национализма.

У Хорна социально-психологические аспекты фашизма обретают такую же степень самостоятельности, как политическая надстройка у поборников тезиса о «примате политики» над экономикой. Он был выдвинут на страницах левого прогрессивного журнала «Дас аргумент». Его наиболее детальное обоснование принадлежит английскому историку Т. Мейсону, неоднократно выступавшему в этом журнале³⁶. Установление нацистской диктатуры Мейсон трактует как «великое историческое поражение «имущих классов». В «третьем рейхе», особенно со второй половины 30-х гг., «как внутренняя, так и внешняя политика национал-социалистического правительства становится все более независимой от влияния экономически господствующих классов»³⁷. В известной мере тезис о «примате политики» отражает реальный процесс возрастания роли политического фактора в условиях государственно-монополистического капитализма вообще и в условиях фашистских режимов в особенности. Однако сторонники такого подхода явно переоценивают возможности чисто политического воздействия на экономические отношения вопреки их объективным закономерностям. Отсюда извращение характера связи между фашизмом и монополистическим капиталом, которому отводится подчиненная роль по отношению к фашистской политической элите.

Интерпретация в сущности призвана служить своеобразным социально-психологическим подкреплением одного из важнейших методологических принципов современной западной историографии фашизма. Хорн прямо заявляет о связи своей трактовки с концепцией Т. Мейсона. Социально-психологический подход — это «решение за примат политики, за принятие... иррационально детерминированного момента воли, который кристаллизуется в мировоззрении антисемитизма, существен-

³³ Fasismus a Evropa, s. 107.

³⁴ Tennenbaum E. R. The Fascist Experience, p. 313.

³⁵ Ledeen M. A. Universal Fascism. New York, 1972, p. 118—121.

³⁶ См.: Рахмир П. Ю. Эволюция буржуазной историографии германского фашизма. — «Ежегодник германской истории, 1970», М., 1971.

³⁷ The Nature of Fascism. London, 1968, p. 181.

ным образом воздействуя на историю национал-социалистического режима»³⁸.

Импонирует Хорну и взгляд А. Тальгеймера, что фашизм сохраняет за буржуазией лишь социальное, но не политическое господство. Хотя капиталистическая система в «третьем рейхе» не была уничтожена, внутри нее, по мнению западногерманского ученого, сложились самостоятельные силы, которые захватили государственный аппарат и прочие центры власти, подрывали существующую экономическую структуру. Как независимая политическая сила нацизм представлял интересы мелкой буржуазии и средних слоев. В социально-экономической сфере чаяния массовой опоры нацистского движения не были осуществлены, но это компенсировалось в другой плоскости, «которую можно анализировать только социально-психологически»³⁹. Все иррациональные черты нацистской политики оказываются у Хорна выражением специфических интересов нацистского массового базиса. «Именно эти интересы, — пишет он, — были тем, что вело к обособлению политики от капиталистически организованной экономики, иррациональные интересы вели к иррациональной политике»⁴⁰.

Исходя из того, что связь между социально-психологическими факторами, с одной стороны, и факторами социально-экономического и политического порядка — с другой, принимает сложный, весьма опосредованный характер, Хорн вообще стремится изолировать их друг от друга. При этом на первый план выступает именно социально-психологическая сторона фашизма, а его политические и экономические аспекты выглядят чем-то второстепенным или даже посторонним. Марксистов западногерманский ученый обвиняет в «экономизме», «экономической метафизике», отрицании роли психологического фактора в истории.

Между тем марксистская наука постоянно учитывает диалектику взаимодействия социально-психологических элементов с элементами из других сфер. Непрямолинейную корреляцию между ними отмечает А. А. Галкин: «Социально-психологические и идеологические процессы обуславливаются экономическим и социальным развитием, но не связаны с ним жестким креплением»⁴¹. Говоря об относительной самостоятельности социально-психологической сферы, советский ученый Б. Ф. Поршнев вместе с тем подчеркивал, что «конечную причину как психологического склада, так и настроений, как относительной неподвижности, так и подвижности — подчас бурной — психических состояний народов, масс, коллективов, наука о социальной психологии ищет в лежащих глубже исторических, социологических закономерностях»⁴².

Смещение центра тяжести в социально-психологическую сферу таит в себе опасность глубокой деформации представлений о фашизме. «Несомненно, — пишет польский исследователь фашизма Ф. Рышка, — чувства опасности, неуверенности и страха благоприятствуют созданию и развитию фашистских движений. Но их нельзя интерпретировать как главную или единственную причину рождения фашизма»⁴³. Чтобы соответствующий эмоциональный настрой был направлен

³⁸ Fasismus a Evropa, s. 109.

³⁹ Ibid., s. 126.

⁴⁰ Ibid., s. 126—127.

⁴¹ Галкин А. А. Социология неофашизма, с. 62.

⁴² Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. М., 1966, с. 118.

⁴³ Ryszka F. Les sources psychologiques et sociales du fascisme. — «Fasismus a Evrope», s. 174.

по фашистскому руслу, необходимо комбинированное взаимодействие многих политических и социально-экономических факторов. Конечно, без социально-психологического анализа немислимо объяснить процесс формирования массового базиса фашизма. Но чтобы раскрыть характер связи между социальной базой и политической функцией фашизма, в которой проявляется его подлинная сущность, недостаточно одного социально-психологического измерения, необходим более широкий и многоплановый подход, учитывающий все многообразие факторов, взаимодействующих в общественной жизни. Причем их взаимодействие, как указывал Ф. Энгельс, происходит «на основе экономической необходимости, в конечном счете всегда прокладывающей себе путь»⁴⁴.

Психоаналитические концепции давно пустили глубокие и прочные корни в буржуазной историографии фашизма. Массированное наступление психоанализа на историческую науку Запада еще сильнее усугубило склонность буржуазных ученых к психоаналитическому истолкованию фашизма.

В истории фашизма находят обширное поле деятельности приверженцы традиционного фрейдизма с его гиперболизацией полового инстинкта; с его погруженностью в индивидуальное подсознание. Излюбленным объектом исследования для представителей этого направления является «феномен Гитлера». Не обойдены вниманием и прочие нацистские иерархи.

Для интерпретации массового базиса фашизма привлекается «аналитическая психология», разработанная швейцарским психиатром К. Г. Юнгом⁴⁵. Квинтэссенцией психологической системы Юнга, порвавшего с ортодоксальным фрейдизмом, стало учение о «коллективном бессознательном», находящем воплощение в «архетипах», которые подобны инстинктам у животных. Они входят в сознание косвенно, через образы и символы, которые возникают у людей в ситуациях, вызывающих острую психическую реакцию⁴⁶. Учение Юнга имело расистский оттенок, поскольку «архетипы» трактовались как врожденные свойства тех или иных человеческих рас. Гитлеровцы даже противопоставляли Юнга как «истинно германского» психолога «дегенерату» Фрейду.

В отличие от психологов и психоаналитиков буржуазные историки не столь уж строго соблюдают границы между различными течениями психоанализа. Поэтому в их работах мирно уживаются и фрейдистский анализ «эго», и «архетипы» Юнга. Только сочетание положений Фрейда, Юнга и Фромма позволит, по мнению английского историка Г. Р. Кедворда, проникнуть в глубину психологии фашизма. На массовом уровне анализа необходимо учение Юнга. В соответствии с его канонами фашизм можно объяснить подъемом «коллективного бессознательного», дающего о себе знать в критических стрессовых ситуациях⁴⁷.

О ценности вклада Юнга в понимание фашизма говорит западно-германский ученый К. Нойман. Поскольку юнговские архетипы носили вневременный характер, то и социально-психологические корни нацизма в изображении Ноймана уходят в весьма отдаленное прошлое. Успех нацистов среди широких слоев населения западногерманский

⁴⁴ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 39, с. 175.

⁴⁵ См.: Ярошевский М. Г. Психология в XX столетии. М., 1971, с. 204.

⁴⁶ Oda jnyk W. The political Ideas of C. G. Jung.— «The American Political Science Review». 1973, vol. LXVIII, № 1.

⁴⁷ H. R. Kedward. Fascism in Western Europe, 1900—1945, London, 1969, p. 192—193.

политолог объясняет «базирующейся на одном из архетипов приверженности масс к «отцовскому символу», который воплощался в германской истории Карлом Великим, Фридрихом Барбароссой, а затем и Гитлером⁴⁸. Что же касается конкретных политических и социально-экономических условий, то они выступают лишь в качестве стимуляторов. Так, кризисные ситуации вызывают к жизни дремлющие в ожидании своего часа извечные темные подсознательные силы человеческой психики.

Настойчивым поборником внедрения в исторические исследования психоанализа является американский ученый П. Левенберг. Психоаналитический инструментарий он использует применительно к личностям фашистских главарей и применительно к массовому базису нацизма. Сначала объектом исследования Левенберг избирает Г. Гиммлера, чьи юношеские дневники в конце 50-х гг. были переданы Стэнфордскому университету офицером американской разведки.

Опираясь на этот источник, американский ученый проводит мысль, что «психоаналитическая теория и клинический опыт могут быть использованы, чтобы показать эмоциональную согласованность и внутреннюю взаимосвязь личных качеств, присущих юноше Гиммлеру и взрослому Гиммлеру»⁴⁹.

Другим полем для «психоисторических» упражнений Левенберга стала психология германской молодежи веймарского периода, которую американский историк считает ключевым элементом массовой свиты нацизма. В его подходе явно ощущается влияние идеи «конфликта поколений». Он подводит под этот взгляд психоаналитическое обоснование с помощью одной из главных фрейдистских категорий — «эдипова комплекса».

Во многом статья Левенберга созвучна с работами западногерманского психолога М. Ванга⁵⁰. Но американский историк дополнил концепцию Ванга разного рода завитушками и фиоритурами за счет социологического и литературного материала. Основная идея Ванга — Левенберга сводится к следующему: то поколение, которое достигло юношеского возраста в период кризиса 1929—1933 гг., находилось во власти «эдипова комплекса». Детство этого поколения было деформировано войной. Дети росли без отцов, а затем, когда те вернулись с фронтов, прониклись к ним чувством враждебности, видя в отцах соперников, с которыми придется делить материнскую любовь. Кроме того, в Германии отцы вернулись с полей сражения не победителями, а побежденными. Отсюда фрустрации, повышенная агрессивность, переходящая в бешенство или садизм. Вообще, заключает Левенберг, «военное поколение имело ослабленное эго и супер-эго...»⁵¹, то есть ослаб контроль сдерживающего сознательного начала над бессознательным. Все это «подготовило молодых германских избирателей к подчинению тоталитарному харизматическому лидеру»⁵².

Психоаналитические интерпретации фашизма чаще всего вращаются вокруг личностей нацистских фюреров. Насколько бывают ослеплены верой во всемогущество психоанализа некоторые наиболее рети-

⁴⁸ Neumann K. Zerstörung und Selbstzerstörung der Demokratie. Europa 1918—1938. Köln-(West) Berlin, 1966, s. 375.

⁴⁹ «The American Historical Review». 1971, vol. 76, № 3, p. 615.

⁵⁰ Wangh M. Psychoanalytische Betrachtungen zur Dynamik und Genese der Vorurteile des Antisemitismus und des Nazismus. — «Psyche», 1962, № 5.

⁵¹ «The American Historical Review», 1971, vol. 76, № 5, p. 1501.

⁵² Ibidem.

вые его поклонники, свидетельствуют рассуждения западногерманского ученого В. Треера. Он сожалеет, что книга Гитлера «Майн кампф» не попала вовремя в руки родоначальника психоанализа. Если бы это случилось, и гениальный Фрейд подверг писание Гитлера тщательному исследованию, то ему удалось бы поднять тревогу среди широкой научной общественности. И тогда, «кто знает? — всемирная история могла бы принять иной оборот»⁵³.

Типичным психоаналитическим истолкованием нацизма в лице его главарей можно считать работу французского автора Ж. Робишона «Психоанализ III рейха». Ответ на вопрос, как могло случиться то, что произошло в 1933 г., Робишон предлагает искать в личностях господ «третьего рейха», прежде всего в личных свойствах фюрера нацистской Германии. И здесь вступает в свои права фрейдизм. Разгадку политического успеха Гитлера Робишон усматривает в его физиологической аномалии: глава «третьего рейха» страдал монорхизмом, одним из видов половой неполноценности. Гитлер давал выход своему неудовлетворенному эротизму «в самой экзальтированной из всех видов деятельности, руководстве людьми»⁵⁴. Ораторский экстаз компенсирует ему сексуальную ущербность. Далее речь идет о половой слабости Гимmlера, разнузданном сексуальном аппетите Гейдриха, который шеф СД удовлетворял в домах терпимости европейских столиц и т. п.⁵⁵.

Другой французский автор, Ж. Броссэ, преломляет через психоаналитические категории биографию Гитлера в первые тридцать лет его жизни. Кроме «эдипова комплекса», он находит у Гитлера и «гамлетовский комплекс». Оба они вместе образуют в его психике «взрывчатую смесь». Фантасмагорические рассуждения о борьбе Гитлера против отцовского символа и его «идентификации» с неким мифическим материнским началом подводят к мысли о том, что разгадку «феномена Гитлера» нужно искать в сексуальной сфере, то есть в «классическом» домене психоанализа.

Броссэ, как и многие другие авторы, делает упор на сексуальную ущербность Гитлера. Опять все сводится к сублимации. «Либи́до» Гитлера, — пишет Броссэ, — не находя никакого возможного сексуального выхода, потоком извергалось в действие, причем исключительно политическое действие»⁵⁶. Отсюда исходивший от фюрера «магнетизм», его нечеловеческая способность влиять на ход событий.

Хотя Броссэ как будто не покушается на прерогативы историков при исследовании такого явления, как гитлеризм, все же последнее слово он оставляет за психоаналитиками. После того как историки закончат дело, именно психоаналитики должны произнести окончательный приговор, устранив неясности и противоречия, перед которыми историки бессильны⁵⁷.

Если прежде инициатива в попытках симбиоза психоанализа и истории исходила от социал-психологов, то теперь заметно усилилось встречное движение со стороны историков-профессионалов. Наряду с уже упоминавшимся П. Левенбергом среди адептов так называемой «психоистории» следует назвать американского историка Р. Уайта. Для Уайта — «психоисторика» — проблемы нацизма замкнуты психо-

⁵³ Treher W. Hitler, Steiner, Schreber. Emmelingen, 1966, S. 6.

⁵⁴ «Les nouvelles littéraires», 8.V.1969, p. 3.

⁵⁵ Ibidem.

⁵⁶ Brosse J. Hitler avant Hitler. Essai d'interpretation psychoanalytique. Paris, 1972, p. 347.

⁵⁷ Ibid., p. 86—87.

логией Гитлера. Ключ к решению этих проблем он видит в «комплексах вины», которые якобы мучили нацистского вождя. Сами комплексы выбраны из обширного психоаналитического ассортимента. Признаки их устанавливаются в соответствии с рецептурой психоанализа.

Эта психоаналитическая спекуляция отнюдь не так уж безобидна, как может показаться на первый взгляд. Вместе с другим американским автором Д. Мак Рэндлом Уайт утверждает, что побуждаемый мазохистскими устремлениями Гитлер всю свою жизнь «флиртовал с поражением и без всякой надобности создавал ситуации, которые были чреваты опасностью для него самого и его движения»⁵⁸. Оказывается, Гитлер специально плохо подготовился к мировой войне, чтобы утолить свои мазохистские наклонности постоянной игрой с угрозой поражения. Здесь Уайт смыкается с теми западными историками (А. Милворд, Б. Клейн и др.), которые заявляют, что нацистская Германия будто бы не готовилась к тотальной войне. Эта группа историков исходит из того факта, что гитлеровцы действительно создавали свою военно-экономическую машину с расчетом на блицкриг⁵⁹. Но они упускают из виду, что Гитлер путем молниеносной войны надеялся добиться тотальных целей, завоевания Европы и установления мировой гегемонии. Теперь эти историки получили неожиданное психоаналитическое «подкрепление». Мазохистскими склонностями Гитлера Уайт объясняет, в частности, и эпизод под Дюнкерком: Гитлер будто бы выпустил англичан из мешка под влиянием безотчетного желания «помучить себя в самый разгар успеха»⁶⁰.

Таким образом, гитлеровские неврозы предстают в качестве решающего фактора в процессе принятия решений по всем важнейшим внутривластным и внешнеполитическим вопросам в «третьем рейхе». Хищнические замыслы монополий, агрессивные устремления военизации — все это отодвигается куда-то далеко и выглядит совершенно несущественным, побочным по сравнению с импульсивными, продиктованными «чувством вины» действиями Гитлера. Этим же фактором объясняет Уайт ужасающую террористическую практику германского фашизма, которая была «прямым следствием личных комплексов вины Гитлера и ненависти его к самому себе»⁶¹. Затем нетрудно сделать вывод, что германский фашизм не был бы столь ужасен, если бы не извращенная психика его вождя, что массовый террор отнюдь не является атрибутом фашизма, а специфическим свойством только одной его разновидности и то лишь вследствие личных свойств Гитлера.

Логика психоаналитического подхода привела Уайта к фактической реабилитации фашизма. Образец сочетания методов истории и психологии, продемонстрированный американским ученым, способен лишь скомпрометировать идею сотрудничества этих двух наук.

Наступление психоанализа на историографию фашизма не случайно совпало с ажиотажем вокруг личности Гитлера, созданным на Западе средствами массовой информации при активном содействии буржуазных историков. Так называемая «гитлеровская волна» вынесла на поверхность и погребенный в течение тридцати лет в архиве доклад группы американских психоаналитиков о личности Гитлера, который был подготовлен по заданию Управления стратегических служб в 1943 г.⁶² У. Ленджер, Г. Мюррей, Э. Крис, Б. Д. Левин пре-

⁵⁸ «The Journal of Interdisciplinary History», 1971, vol. 1, № 2, p. 239.

⁵⁹ См.: Дашичев В. И. Банкротство стратегии германского фашизма. Т. 1, М., 1973.

⁶⁰ «The Journal of Interdisciplinary History», 1971, vol. 1, № 2, p. 243.

⁶¹ Ibid., p. 249.

⁶² См.: Langer W. C. The Mind of Adolf Hitler. New York, 1972.

дались психоаналитическим фантазиям на основе сомнительных данных об интимной жизни фюрера. Отвергая правила критики источников, принятые историками и юристами, группа Ленджера, по словам американского ученого Г. Гатцке, «судила о надежности своих источников в зависимости от того, насколько они соответствовали предвзятым представлениям этой группы о Гитлере»⁶³. Недостаток информации с лихвой компенсировался игрой воображения.

Не удивительно, что публикацию доклада Ленджера и К° восторженно приветствовал Р. Уайт, оценивший ее в послесловии как важный «исторический документ». По-видимому, совпадение его собственных взглядов с рассуждениями группы Ленджера настолько ослепило Уайта, что он не замечает разрушительного для психоаналитических построений эффекта публикации. Менее подверженные чарам психоанализа буржуазные историки трезвее оценивают результаты такого рода «исследований». В изучении психологии Гитлера, полагает Г. Гатцке, «ни психологам, ни историкам не удалось добиться удовлетворительных результатов»⁶⁴. Весьма скептически относится к увлечению психоанализом леволиберальный западногерманский историк Г.-У. Велер: «Подлинная проблема — не индивидуальная психопатология Гитлера, а состояние общества, которое его подняло и позволило господствовать до апреля 1945 года»⁶⁵.

Психоаналитические истолкования фашизма опасны тем, что они спекулируют на реальных трудностях всестороннего познания такого многообразного явления, как фашизм. Небывалые в истории преступления, взлет варварства на фоне цивилизации XX века в странах древней культуры — все это просто не укладывалось в рамках обыденных человеческих представлений. Это обстоятельство подметил известный польский писатель С. Лем: «Даже совершенные социологические знания с трудом избавляют нас от мифологического толкования феноменов типа фашизма»⁶⁶.

В отличие от демонологических интерпретаций прошлого, принципиально отвергавших возможность научного постижения фашизма, современные психоаналитические интерпретации претендуют на подлинную научность. О беспочвенности подобных притязаний свидетельствуют, в частности, сами результаты психоаналитических «исследований», растворяющих в сексуальной символике реальное содержание фашизма.

Привнося в исследование фашизма элементы психоанализа, буржуазные историки, по верному замечанию В. И. Салова, проводят мысль о том, «будто фашистское государство — это власть психически ненормальных людей, патологических извращенцев...»⁶⁷ Из этого должно следовать, что к «третьему рейху» нельзя подходить с «нормальными» политическими и социально-экономическими критериями.

Конечно, исследователь фашизма не может пройти мимо очевидного факта, что среди фашистских лидеров преобладают патологические личности. «Без таких людей, — пишет Э. Генри, — управление тоталитарными или хотя бы полутоталитарными буржуазными государствами уже практически невозможно. Нельзя переходить к фашистской или военно-авторитарной диктатуре, не создавая новый тип государственного деятеля: тип политика-преступника». Буржуа-

⁶³ «The American Historical Review», 1973, vol. 78, № 2, p. 39.

⁶⁴ Ibid., p. 400—401.

⁶⁵ «Geschichte und Psychoanalyse». Herausg. von Hans-Ulrich Wehler. Köln, 1971, S. 25.

⁶⁶ «Новый мир», 1970, № 6, с. 236.

⁶⁷ «Новая и новейшая история». 1972, № 4, с. 101.

зии, делающей ставку на фашизм, необходимы «политики, с легкостью, без колебаний, даже с каким-то сладострастием идущие на геноцид — уничтожение целых народов. Политики, для которых руководство государством неотделимо от непрерывного массового террора, от небывалой системы варфоломеевских ночей, провокаций и фальсификаций, от криминализации всего административного аппарата»⁶⁸. Изучение политиков фашистского типа может дать положительные результаты в том случае, если их личные свойства рассматриваются во взаимосвязи с породившей их социальной средой и конкретной исторической ситуацией, с учетом выполняемой ими объективной политической функции. Крен в сторону психоанализа, характерный для современной западной историографии, в значительной мере является защитной реакцией на успехи марксистско-ленинской исторической науки. Возможности буржуазных историков в социально-экономической и политической сферах исследования резко ограничены благодаря капитальным трудам и документальным публикациям, которыми обогатились марксистская историография в особенности за последние годы. Между тем на основе фрейдизма можно выдвигать самые фантазмагорические истолкования фашизма.

В связи с расширением границ исследования за счет многочисленных западноевропейских фашистских движений и организаций, их лидеров и идеологов, буржуазные историки намереваются перенести давно сложившиеся в ходе изучения нацизма концепции и методы психологического анализа на новые объекты. Испанский, бельгийский, британский, французский фашизм, итальянские сквадристы, — вот, по мнению Г. Р. Кедворда, «обширные пространства, еще не затронутые психологическим исследованием»⁶⁹.

В то же время буржуазным ученым приходится признавать скудость результатов социологического и психологического анализа фашизма. Подводя итоги дискуссии о фашизме, проведенной Мюнхенским институтом современной истории, М. Бушбек констатирует наличие «очевидной пропасти между чисто историческим пониманием фашизма и социологическо-политической сферой «фашистского поведения»⁷⁰.

Выражая надежду, что когда-нибудь психология не будет «ни заменителем истории, ни косметикой для Клио, а существенной и значительной частью исторического объяснения»⁷¹, американский историк Б. Мэзлиш довольно точно определил основные пороки формального сотрудничества между историей и психологией, характерного для буржуазной исторической науки. Политическая предвзятость, научная несостоятельность социологических и психологических концепций, привлекаемых для истолкования фашизма, в неизмеримо большей степени, чем неразработанность комбинированного использования методов истории и других социальных наук, обусловили неудачи буржуазных историков в поисках нового подхода к фашизму. Вполне оправданное стремление использовать социологический и психологический инструментарий в процессе исторического исследования у буржуазных ученых служит не столько углублению и расширению познаний о фашистском феномене, сколько извращению его истинной сути.

⁶⁸ Генри Э. Заметки по истории современности. М., 1970, с. 150.

⁶⁹ K e d w a r d H. R. Fascism in Western Europe, 1900—1945, p. 183.

⁷⁰ «Süddeutsche Zeitung», 17.XII.1969.

⁷¹ «Journal of Contemporary History». 1968, № 2, p. 177.

Н. С. ЧЕРКАСОВ

«ЛЕВЫЕ» НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТЫ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Характерной чертой германского фашизма было наличие глубокого противоречия между его функцией выразителя интересов наиболее реакционных и агрессивных кругов финансового капитала и объективными интересами большинства различных социальных групп, главным образом мелкобуржуазных, составлявших его массовую базу. Это противоречие усиливалось вследствие того, что фашизм для того, чтобы выполнить свою роль и привлечь миллионы сторонников, должен был широко прибегать к социальной демагогии, к «антикапиталистическим» лозунгам. Неизбежным результатом этого противоречия было постоянное существование серьезных внутренних конфликтов в национал-социалистской партии (НСДАП), борьба различных групп в ней. Естественно, что наиболее острой она была в период развития НСДАП в массовую партию, ее борьбы за власть и в первое время после захвата власти. Представители различных социальных слоев, составлявших массовую базу движения, стремились добиться проведения им политики, в той или иной мере отражавшей их интересы, хотя и понимаемые зачастую ложно.

История внутренних конфликтов в НСДАП сравнительно слабо изучена. Советскими историками пока не написано специальных исследований, посвященных этой теме. Число специальных работ, посвященных ей, за рубежом также невелико. Однако вопросы, связанные с внутренней борьбой в НСДАП, отражавшей противоречие между ее социальной функцией и объективными интересами большого числа ее сторонников, так или иначе затрагиваются в многочисленных работах, посвященных германскому фашизму в целом, либо тем или иным отдельным сторонам его истории. Это позволяет говорить о наличии на сегодняшний день историографии данной, имеющей и теперь весьма важное общественно-политическое значение, проблемы. Это значение состоит, на наш взгляд, в том, что изучение ее позволяет правильное оценить характер массовой базы современного неофашизма (например, «Итальянского социального движения»), определить основные направления борьбы с ним, а также выявить характер течений, которые, заимствуя те или иные черты фашистских движений, в действительности не относятся к ним¹.

Один из наиболее серьезных конфликтов в НСДАП был связан с деятельностью так называемых «левых» национал-социалистов в пе-

¹ Например, перонистское движение (хустиснализм) в Аргентине, в котором наличествуют течения от крайне правых до ультралевых (см.: Альварес Х. А. За новую свободную Аргентину. — «Коммунист», 1973, № 17, с. 108).

риод частичной стабилизации капитализма и в первые годы мирового экономического кризиса. Возглавляемые братьями Грегором (1892—1934) и Отто (родился в 1897 г.) Штрассерами «левые» в основном действовали на территории северных и западных районов Германии. На совещании в Хагене в сентябре 1925 г. они образовали так называемое «Объединение северных и западных организаций НСДАП», которое провело в ноябре 1925 г. и январе 1926 г. две своих конференции в Ганновере, где обсуждались вопросы, связанные с выработкой новой программы партии и основными направлениями ее деятельности. Хотя на собрании нацистских руководителей в Бамберге 14 февраля 1926 г. взгляды «левых» были подвергнуты Гитлером резкой критике, а само «Объединение» формально было вскоре распущено, Штрассеры и их сторонники продолжали проводить свой курс. Ими было создано независимое от мюнхенского партийного центра издательство («Кампфферлаг»), по тиражам и влиянию своих изданий успешно конкурировавшее с изданиями мюнхенского руководства НСДАП. Лишь после острого столкновения с Гитлером по поводу поддержки «левыми» забастовки саксонских металлистов в апреле 1930 г. О. Штрассер вместе со своими сторонниками в июле 1930 г. выходит из нацистской партии, создав «Боевое содружество революционных национал-социалистов», преобразованное затем в «Черный фронт». Однако и после ухода О. Штрассера в НСДАП оставалось значительное число прежних сторонников «левых». Что же касается их ведущего представителя Г. Штрассера, то он с конца 1927 г. стал руководителем организационного отдела нацистской партии и оставался им до декабря 1932 г., когда был исключен Гитлером из партии в связи с тем, что предлагал включить в будущее правительство кроме крайних националистов представителей различных политических групп. В ночь на 30 июня 1934 г., когда нацистское руководство уничтожило вождей штурмовых отрядов, был убит и Штрассер².

Стремление фашизма создать себе массовую базу для того, чтобы прийти к власти, и наличие ее противоречий с целями фашизма было отмечено еще в документах Коминтерна. Так, IV Конгресс Коммунистического интернационала (ноябрь — декабрь 1922 г.) отмечал: «Фашисты ...пытаются также путем социальной демагогии создать себе почву в массах: в крестьянстве, в мелкой буржуазии, даже в известной части пролетариата»³. В резолюции третьего расширенного пленума ИККИ в июне 1923 г. о борьбе против фашизма говорилось, что «всюду основная сущность его сводится к сочетанию грубого террористического насилия с мнимо-революционной фразеологией, демагогически спекулирующей на запросах и настроениях широких трудящихся масс». Резолюция констатировала, что в эпоху революционного подъема фашизм заигрывал с пролетарскими революционными требованиями, а «следовавшая за ним масса шаталась между обоими враждебными лагерями (разрядка моя. — Н. Ч.), являющимися воплощением великих всемирно-исторических классовых противоречий

² Изложение конкретной истории деятельности «левых» национал-социалистов, помимо ряда статей, см.: Kühnl R. Die nationalsozialistische Linke 1925—1930. Meisenheim am Glan, 1966; Schildt G. Die Arbeitsgemeinschaft Nord-West. Freiburg im Br., o. J. (1966); Schüddekopf O.-E. Linke Leute von rechts. Stuttgart, 1960; Horn W. Führerideologie und Parteiorganisation in der NSDAP (1919—1933). Düsseldorf, 1972; Orlow D. The history of the Nazi party: 1919—1933. Pittsburgh, 1969; Nyomarkay J. Charisma and Factionalism in the Nazi party. Minneapolis, 1967; Jochmann W. Nationalsozialismus und Revolution. Fr. a. M., 1963 (Dokumente).

³ Коммунистический Интернационал в документах. 1919—1932. М., 1933, с. 297.

и классовой борьбы». Исполком Коминтерна считал, что «смутно и бессознательно» находящиеся в фашистских рядах революционные элементы могут втягиваться в пролетарскую классовую борьбу⁴.

В Программе Коммунистического Интернационала, принятой его VI Конгрессом (1928 г.), отмечалось, что «фашизм стремится проникнуть и в рабочую среду, вербуя наиболее отсталые слои рабочих, используя их недовольство, пассивность социал-демократии и т. д.», что фашизм использует «в особо критические для буржуазии периоды антикапиталистическую идеологию»⁵.

XIII пленум ИККИ в декабре 1933 г., давший известное марксистское определение фашизма как открытой террористической диктатуры наиболее реакционных, наиболее шовинистических и наиболее империалистических элементов финансового капитала, отметил, что фашизм «пытается обеспечить за монополистическим капиталом массовый базис среди мелкой буржуазии, апеллируя к выбитому из колеи крестьянству, ремесленникам, служащим, чиновникам... стремясь проникнуть также в рабочий класс»⁶.

Стремление германского фашизма проникнуть в массы, в том числе и в ряды рабочего класса, путем выдвижения антикапиталистических лозунгов, выступая «облаченным в маску классового борца», отмечал неоднократно журнал «Коммунистический интернационал»⁷. Журнал считал, что отколовшаяся в 1930 г. от НСДАП группа О. Штрассера особенно ловко спекулирует на настроениях масс. В то же время она не имеет будущего, так как за Гитлером стоят денежные тузы и он благодаря этому сохраняет контроль над партийным аппаратом, в то время как группа О. Штрассера, выдвигая слишком радикальные лозунги, играет с точки зрения буржуазии «с огнем» и не получает ее поддержки⁸.

«Маскировка социальной демагогией дала возможность фашизму увлечь за собой в ряде стран выбитые кризисом из колеи массы мелкой буржуазии и даже некоторые части наиболее отсталых слоев пролетариата», — отмечал в своем докладе на VII Конгрессе Коминтерна Г. М. Димитров⁹. «Фашизм приходит обыкновенно к власти, — говорил он, — во взаимной, подчас острой борьбе со старыми буржуазными партиями или с определенной частью их, в борьбе даже в самом фашистском лагере (разрядка моя. — Н. С.)»¹⁰. Эта борьба отражает противоречивые интересы тех разнородных социальных групп, которые он стремится привлечь под свои знамена.

Таким образом, в документах Коминтерна была в основном определена та социальная среда, выразителями настроений которой явились «левые» национал-социалисты.

Проблемы внутрипартийной борьбы в национал-социалистском движении затронуты в работах советских историков А. А. Галкина, Л. И. Гинцберга, А. С. Бланка и Б. А. Филиппова.

А. А. Галкин предпринимает попытку точного определения социальной базы «левых» в НСДАП. Он считает, что они опирались на

⁴ Там же, с. 380, 381.

⁵ Там же, с. 12.

⁶ «Правда», 3 января 1934 г. См. также: Lewerenz E. Die Analyse des Faschismus durch die Kommunistische Internationale. В., 1975; Lewin E. Zur Faschismus-Analyse durch die Kommunistische Internationale (1919—1933). — «Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung», 1970, Hf. 1.

⁷ См. например: «Коммунистический Интернационал», 1930, № 9, с. 46—56; № 22, с. 18—23; 1932, № 4.

⁸ «Коммунистический Интернационал», 1930, № 22, с. 20.

⁹ Димитров Г. Избранные произведения, т. 1, София, 1967, с. 607.

¹⁰ Там же, с. 608.

«представителей полуремесленного пролетариата, традиционно придерживавшихся консервативных, крайне националистических взглядов, враждебно относившихся к марксистам», а также на те слои «среднего сословия», с характерным для него консерватизмом и шовинизмом, которые пролетаризировались во время войны, революции и послевоенной инфляции. Они «стояли на позициях широкого использования социального маневрирования во имя ослабления, а затем и разгрома организованного рабочего движения». А. А. Галкин отмечает весьма пагубную для немецкого рабочего класса роль «левых», поскольку их деятельность «способствовала распространению среди части рабочих иллюзии относительно «заслуг» НСДАП в борьбе за их интересы». Однако ценность «левых» для НСДАП «не могла идти ни в какое сравнение с ценностью поддержки еще одной фракции монополистической буржуазии или представителей городских мелких буржуа». Поэтому они были принесены в жертву, причем один из них быстро переориентировались (Геббельс), другие — пали жертвами репрессий¹¹. А. А. Галкин констатирует, что «нацистское руководство получило рычаги правления только после того, как решительно разделалось с фракцией Грегора Штрассера, считавшейся «левой»¹².

Л. И. Гинцберг, не останавливаясь специально на деятельности «левых», отмечает, что они «пытались сочетать несоединимое: фашистскую идеологию, дикую вражду к организованному рабочему движению с борьбой против засилья крупного капитала». Подчеркивая, что и Отто, и Грегор Штрассеры были отъявленными фашистами, он, однако, как представляется, недооценивает их расхождения с Гитлером, утверждая, например, что Г. Штрассер был «единомышленником Гитлера во всем, кроме вопроса об участии в правительстве»¹³.

А. С. Бланк считает, что целью «левых» в НСДАП было проникновение в чисто пролетарские организации, максимальное расширение социальной базы фашистского движения за счет привлечения в его ряды рабочих. «Левые», — пишет он, — жонглировали антикапиталистической фразеологией, подвергали яростным нападкам отдельных не связанных с нацистами капиталистов. В некоторых случаях они даже в целях обмана поддерживали отдельные забастовки рабочих». А. С. Бланк пишет, что каких-либо принципиальных разногласий с руководством у «левых» при этом не было — «речь шла лишь о выборе более целесообразных методов и демагогических лозунгов»¹⁴. Вопрос об объективной социальной базе идеологии «левого» национал-социализма автор не ставит, рассматривая внутрипартийную борьбу в НСДАП лишь попутно с изложением своей основной темы.

Более или менее специально останавливается на изучении деятельности «левых» национал-социалистов Б. А. Филиппов. Он также считает, что «левые» нацисты «были проводниками идей фашизма в ряды пролетариата... они опирались на те слои рабочих, которые были привлечены в НСДАП националистическими лозунгами и требовали политики, отвечающей их интересам»¹⁵. Автор анализирует проект программы НСДАП, разработанный в начале 1926 г. Г. Штрассером, от-

¹¹ Галкин А. А. Германский фашизм. М., 1967, с. 183—185, 193.

¹² Галкин А. А. Социология неонацизма. М., 1971, с. 43.

¹³ Гинцберг Л. И. На пути в имперскую канцелярию. М., 1972, с. 100—101, 377.

¹⁴ Бланк А. С. Германский фашизм и западногерманский неонацизм, ч. 1. Вологда, 1971, с. 42, 45, 60.

¹⁵ Филиппов Б. А. Рабочая политика германского фашизма накануне и в первые годы мирового экономического кризиса. — В сб.: Проблемы истории рабочего движения и международных отношений. Л., 1969, с. 32—33.

мечая, что в нем «под видом «социализма» речь шла о государственном регулировании капиталистической экономики»¹⁶. Что касается группы О. Штрассера, в 1930 г. ушедшей из НСДАП, то он считает ее «оппозицией националистически настроенных мелкобуржуазных интеллигентов, которые пытались под лозунгами национального единства бороться и против марксизма, и против монополистической буржуазии»¹⁷.

Таким образом, советские историки, исследуя деятельность «левых» национал-социалистов, приходят к следующим основным выводам: а) «левые» были наиболее рьяными пропагандистами социальной демагогии фашизма; б) они опирались на отсталые слои рабочих и некоторые группы мелкой буржуазии и мелкобуржуазной интеллигенции; в) их идеология не отличалась принципиально от идеологии фашизма в целом; г) развитие контактов между НСДАП и ведущими кругами монополистической буржуазии неизбежно вело к разрыву нацистского руководства с «левыми». Однако эти верные теоретические выводы не подкреплены пока еще достаточным изучением конкретного материала. Особенно внимательного изучения заслуживает, на наш взгляд, социальная база «левых» — это проблема, связанная с выяснением характера внутренних противоречий и столкновений в фашистском движении и возможностей использования их в борьбе с ним.

Оценка и анализ деятельности «левых» национал-социалистов имеются также в некоторых работах историков ГДР. Так, В. Руге пишет, что взгляды О. Штеннеса (лидера «мятежа» берлинских штурмовиков против партийного руководства в начале 1931 г.) при всей их неясности и дилетантизме «отражали разочарование части сторонников нацистов предательством социалистических лозунгов и все более очевидным согласованием действий Гитлера с монополистами». Он отмечает, что руководство КПГ ставило задачу использовать брожение и недовольство среди сторонников фашизма и «направить их путанные социалистические устремления по ясному революционному пути». В. Руге считает, что движение О. Штрассера, «не имея цельной программы организационного и пропагандистского аппарата, денежных средств... было не в состоянии добиться существенного прорыва в фашистские ряды»¹⁸.

Наиболее обстоятельно из историков ГДР проблемы внутренней борьбы в НСДАП рассматривает М. Вайсбеккер. В своей статье о НСДАП, помещенной в капитальном двухтомном справочнике «Буржуазные политические партии в Германии (1830—1945 гг.)», он подробно прослеживает основные этапы столкновений в нацистском движении. М. Вайсбеккер останавливается на двух основных эпизодах борьбы «группы Штрассеров» с мюнхенским партийным руководством. В 1925—1926 гг. используемые ею «вводящие в заблуждение фразы о национальном социализме (не национал-социализме!), о тотальной немецкой революции... о передаче нации земли, недр и средств производства должны были обеспечить НСДАП влияние среди доминирующих в северо- и западногерманских областях пролетарских сил». Фактически же борьба шла «вокруг тактических вопросов, а не единодушно признаваемых целей». Победа осталась за мюнхенским направлением, поскольку оно получало «более значительную политическую и

¹⁶ Там же, с. 34.

¹⁷ Там же, с. 39.

¹⁸ Ruge W. Deutschland von 1917 bis 1933. В., 1967, S. 373.

финансовую поддержку крупной буржуазии, недоверчиво относившейся к «направлению Штрассеров»¹⁹.

Серьезная напряженность возникла в НСДАП, отмечает М. Вайсбеккер, и в период создания массовой базы фашизма. «Она отражала как противоречия между империалистическим курсом вождей и интересами приверженцев национал-социализма, так и различное влияние отдельных монополистических групп на партию». Стремясь упрочить союз с крупной буржуазией, руководство НСДАП «делало все, чтобы избежать любого шага от социальной демагогии к действительной борьбе за социальные интересы трудящихся». Разрыв Гитлера со сторонниками О. Штрассера летом 1930 г. привел к тому, что «большая часть мелкой буржуазии, испытывавшая мало симпатий к социалистическим фразам, не видела теперь никаких препятствий к тому, чтобы открыто завершить свой переход к НСДАП». М. Вайсбеккер отмечает, что КПП видела серьезную социальную основу борьбы различных «клик вождей» в фашистском движении, что она стремилась привлечь на сторону революционного пролетариата имевшиеся в нем элементы, действительно верившие в социализм²⁰.

М. Вайсбеккер посвящает также статью деятельности основанного О. Штрассером после разрыва с Гитлером «Боевого содружества революционных национал-социалистов», преобразованного затем в «Черный фронт». Он отмечает, что программа О. Штрассера, так называемые «14 пунктов германской революции», имела целью помешать переходу разочарованных сторонников НСДАП к КПП. Он констатирует, что в «Содружестве» имелись действительно революционные элементы, которые, в частности, провели решение о том, чтобы призывать сторонников своей группы либо бойкотировать выборы в рейхстаг в сентябре 1930 г., либо голосовать за кандидатов КПП. Их лучшие представители (Корн, Р. Х. Рем, Порф, Гроссе) в конце 1930 г. перешли в ряды коммунистов. Сам же О. Штрассер продолжал стоять на национал-социалистских позициях, организация его впоследствии вносила раскол в ряды антифашистской эмиграции, а после войны, вернувшись в 1955 г. из эмиграции в Канаде в Западную Германию, он вновь пытался создавать фашистские организации²¹.

Наибольшее внимание деятельности «левых» национал-социалистов уделяет историография ФРГ. Ряд работ посвятили этой проблеме историки США. Следует отметить, однако, что подавляющее большинство исследований появилось сравнительно недавно, во второй половине 60-х годов и начале 70-х гг. Так, еще в 1967 г. американский историк И. Ньюмарки констатировал, что «немногие аспекты истории германского национал-социализма пользовались столь малым вниманием ученых как природа его фракционных конфликтов... До сих пор не было попыток сделать их предметом всестороннего теоретического анализа»²².

Причиной повышения в последние годы интереса к данной проблематике наряду с накоплением большого фактического материала, вводом в научный оборот обширных архивных фондов национал-социалистской партии, хранившихся ранее в США и недоступных для боль-

¹⁹ Weibbecker M. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 1919—1945. — «Die bürgerlichen Parteien in Deutschland», Bd. II, Leipzig, 1970, s. 398—399.

²⁰ Op. cit., s. 404—406.

²¹ Weißbecker M. Kampfgemeinschaft Revolutionäre Nationalsozialisten 1930—1931. — «Die bürgerlichen Parteien in Deutschland», Bd. II, Leipzig, 1970, S. 250—254.

²² Nyomarkay J. Charisma and Factionalism in the Nazi Party. Minneapolis, 1967, p. 3.

шинства исследователей, является также обострение во второй половине 60-х гг. внутриполитической борьбы в ФРГ — вспышка в ней неонацистской опасности (НДП) и значительное оживление демократических сил, что привело к многочисленным острым дискуссиям о природе фашизма, его социальной базе, его связях с монополиями и т. д., в ходе которых неизбежно возникал вопрос о характере «левого» национал-социализма. Ряд буржуазных идеологов (Ю. Хабермас и др.) поспешили приклеить ярлык «левого фашизма» молодежному и студенческому движению²³, резко активизировавшему свою деятельность и зачастую с неясных и утопических позиций отвергавшему современное капиталистическое общество. Все это требовало выяснения природы «левого» национал-социализма, его базы и объективной роли. Кроме того, в 60-х гг. среди историков и «политологов» ФРГ наблюдается резкое повышение интереса к изучению деятельности различных группировок, действовавших в политических партиях Веймарской республики или отколовшихся от них (Splitterparteien). Это последнее обстоятельство связано, очевидно, с выяснением возможностей раскола организованного демократического движения в ФРГ, его «плюрализации». Репродуцируются издания различных сектантских, ультралевых, троцкистских и иных групп веймарского периода, об их деятельности пишутся статьи и монографии²⁴. Объектом изучения в этой обстановке оказались и различные течения в германском фашизме, прежде всего «левые» национал-социалисты.

Показательно, что во многих работах по истории Веймарской республики и национал-социализма, написанных как в годы фашизма, так и в первые послевоенные годы, вопрос о «левых» течениях в НСДАП либо вообще не ставится²⁵, либо характеристика этого явления ограничивается несколькими фразами. В работах буржуазных историков, поскольку они говорят об этом, наблюдалась явная тенденция изобразить «левых» как настоящих социалистов, революционеров с тем, чтобы подчеркнуть якобы «социалистический» характер НСДАП в целом, «сблизить» ее в рамках преобладавшей в те годы концепции тоталитаризма с коммунистической партией. Особенно безапелляционные оценки подобного рода давались историками консервативного направления. Так, В. Герлиц и А. Квинт писали о «пролетарски-социалистической программе» и «явно социалистических требованиях крыла Штрассера»²⁶. Впрочем аналогичные оценки давались и историками-либералами и социал-демократами. Так, А. Розенберг писал о том, что в 1929 г. существовало «решительно социалистическое левое крыло НСДАП», которое вело пропаганду «приблизительно в стиле КПГ» и стремилось «открыть путь для социалистического переворота в Германии», предпосылкой чего должен был стать «отрыв» Гитлера от его союзника из дойч-националов Гугенберга. Весной 1930 г., писал А. Розенберг, «левые» национал-социалисты вместе с ГКП и левыми социал-демократами представляли революционное

²³ Habermas J. Protestbewegung und Hochschulreform. Fr. a. M., 1969, S. 147—148.

²⁴ Bock H.-M. Syndikalismus und Linkskommunismus von 1918—1923. Meisenheim am Glan, 1965; Fritz B. D. Die Kommunistische Arbeitsgemeinschaft (KAG) im Vergleich mit der KPO und SAP. Bonn, 1966; Tjaden K. H. Struktur und Funktion der «KPD-Opposition». Meisenheim am Glan, 1964; Weber H. Sozialistische Splittergruppen in der Weimarer Republik.—«Neue politische Literatur», 1965, Hf. 4. u. a.

²⁵ Braun O. Von Weimar zu Hitler. N. Y., 1940; Friedensburg F. Die Weimarer Republik. Hannover — Fr. a. M., 1957.

²⁶ Görlitz W., Quint A. Adolf Hitler. Eine Biographie. Stuttgart, 1952, S. 166, 255.

движение в Германии²⁷. Х. Гребинг пишет о том, что на Рейне и в Руре национал-социалисты вели себя «подчеркнуто социалистически и даже по-пролетарски», говорит о «социалистической» группе О. Штрассера²⁸. О «социалистическом крыле О. Штрассера летом 1930 г.» писал К.-Д. Брахер²⁹. И даже весьма критично настроенный к мифам буржуазной историографии Г. Хальгартен писал о «полусоциалистических подчиненных» Гитлера³⁰. П. Эртцен считает, что «левый фашизм» является тем компонентом, который отличает фашизм в целом «от традиционной авторитарной, националистической и милитаристской реакции»³¹. Список подобных характеристик «левых» можно было бы значительно расширить.

Ряд западногерманских историков пытался также рассматривать «левых» национал-социалистов как часть некоего «национал-большевистского» течения в веймарской Германии, которое, дескать, могло бы стать «третьей силой» и успешно бороться и с коммунизмом и с гитлеризмом под флагом ориентации на Восток и антикапиталистически окрашенной идеологии³². Кстати, за сторонника «третьего фронта», «отклоняющего индивидуализм буржуазного общественного порядка с той же страстью, что и коллективизм общественного порядка масс», выдавал себя и сам О. Штрассер³³. Проводит параллели между деятельностью сторонников Штрассера и национализмом некоего нового рода, в котором «оказывается несостоятельным общепринятое различие между левыми и правыми», К. Зонтхаймер³⁴. Задачей «национал-большевизма» должны были стать «попытки направить КПП по национальному курсу», поскольку, как пишет он в полном соответствии с клише буржуазной пропаганды, она была якобы подчинена «Советам»³⁵. По этому же пути идет и О. Э. Шюддекопф, который говорит о наличии в 1925—1926 гг. в НСДАП «сильного национал-коммунистического течения», о том, что северные группы нацистов переживали «превращение из мелкобуржуазной в пролетарскую партию»³⁶. «Левые люди в лагере правых», к которым автор относит и сторонников Штрассеров, и сторонников «национал-большевизма», и представителей различных младогерманских группировок, множество которых появилось в последние годы Веймарской республики, по мнению автора «считали во всяком случае сохранение и развитие мирных отношений с СССР главным принципом германской внешней политики», что обуславливает важность изучения их деятельности и в наше время³⁷.

Что касается степени самостоятельности «левых» в национал-социалистской партии, то здесь мнения западногерманских историков резко расходятся. Если некоторые из них подчеркивают противоположность их принципов «гитлеровскому» направлению в НСДАП и их

²⁷ Rosenberg A. Entstehung und Geschichte der Weimarer Republik. Fr. a. M., 1955, S. 472, 476.

²⁸ Grebing H. Der Nationalsozialismus. Ursprung und Wesen. München, 1959, S. 59, 61—62.

²⁹ Bracher K.-D. Die Auflösung der Weimarer Republik. Stuttgart-Düsseldorf, 1955, S. 172.

³⁰ Hallgarten G. W. F. Hitler, Reichswehr und Industrie. Fr. a. M., 1955, S. 99.

³¹ Theorien über den Faschismus. Köln—Berlin, 1967, S. 225.

³² Paetel K. O. Versuchung oder Chance? Zur Geschichte der deutschen Nationalbolschewismus. Göttingen u. a. См. рецензию: «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft», 1966, Hf. 5 (Könnemann E.).

³³ Exil-Literatur. 1933—1945. Fr. a. M., 1965, S. 146.

³⁴ Sonthheimer K. Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik. München, 1962, S. 39.

³⁵ Ibid., S. 160.

³⁶ Schüddekopf O. E. Linke Leute von rechts. Stuttgart, 1960, S. 190, 209.

³⁷ Ibid., S. 400.

организационную самостоятельность, то другие призывают не переоценивать их расхождений с Гитлером. Так, А. Тирел в комментариях к сборнику документов о «боевом периоде» НСДАП отмечает, что Г. Штрассер в 1925—1926 гг. действовал по поручению «фюрера», что можно говорить не о «крыле» О. Штрассера в национал-социалистской партии, а всего лишь о «кружке» его сторонников и т. д.³⁸ Г. Хайбер характеризует деятельность «объединения северных и западных организаций НСДАП» как всего лишь «фронду против мюнхенского партийного руководства»³⁹.

С более или менее демократических позиций была написана вышедшая в 1958 г. книга близкого к профсоюзным кругам историка Г.-Г. Шумана «Национал-социализм и профсоюзное движение». Автор отмечает, что «вплоть до захвата власти национал-социализму не удалось сколько-нибудь существенное проникновение в ряды рабочего класса... После 30 января 1933 г. это положение не изменилось решающим образом»⁴⁰. Деятельность «левых» национал-социалистских профсоюзов, пишет он, «как это давно уже поняли ведущие предпринимательские круги... была лишь... отдушиной для тех групп, которые слишком буквально понимали термин «социалистическая» в наименовании партии»⁴¹. Тем не менее деятельность «левых» являлась препятствием для использования нацистской партией жизненно важных для нее финансовых источников крупного капитала, что и было одной из главных причин неуклонного и тщательного искоренения «социализма» внутри НСДАП⁴².

В 1966 г. почти одновременно появились две работы, посвященные анализу деятельности «левых» национал-социалистов. Это работы Р. Кюнля и Г. Шильдта⁴³. Обе они были написаны молодыми учеными, явились изложением их диссертационных сочинений. Правда, если Р. Кюнль излагает события, начиная от образования «Объединения северных и западных организаций НСДАП» до разрыва О. Штрассера с нацистской партией, то Г. Шильдт ограничивался изложением лишь недолгой истории упомянутого «Объединения». Однако позиции авторов по рассматриваемым ими проблемам весьма различны. Книга Г. Шильдта, кстати в свое время сбежавшего из ГДР в Западную Германию, воспитанника реакционной фрейбургской школы историков, где среди его учителей были такие столпы консервативного направления историографии ФРГ, как Г. Обен, Г. Риттер, написана с позиций подчеркнутого академизма и мнимой беспристрастности. Один из рецензентов книги Шильдта с похвалой пишет, что в его исследовании «критика идеологии едва ли играет какую-либо роль»⁴⁴. Это, однако, не может скрыть явно антидемократических взглядов автора. Книга Р. Кюнля, ученика В. Абендрота, главы стоящей в основном на демократических позициях марбургской школы социологии и политологии, несмотря на существенную непоследовательность взглядов автора, написана с боевых, антифашистских позиций. Автор

³⁸ Tyrell A. (Hrsg.) Führer befiehl... Düsseldorf, 1969, S. 99—100, 312—313.

³⁹ Heiber H. Joseph Goebbels B. (West), 1962, S. 47.

⁴⁰ Schumann H.-G. Nationalsozialismus und Gewerkschaftsbewegung. Hannover-Fr. a. M., 1958, S. 3.

⁴¹ Ibid., S. 38.

⁴² Ibid., S. 33.

⁴³ Kühnl R. Die nationalsozialistische Linke 1925—1930. Meisenheim am Glan, 1966; Schildt G. Die Arbeitsgemeinschaft Nord-West. Untersuchungen zur Geschichte der NSDAP 1925/26. Freiburg im Br. o. J. (1966).

⁴⁴ Muth H. Literaturbericht.—«Geschichte in Wissenschaft und Unterricht», 1971, Hf. 10, S. 625.

не ограничивается выявлением голых исторических фактов, а стремится выявить сущность германского фашизма, его классовую природу⁴⁵.

Г. Шильдт весьма скрупулезно реконструирует историю возникновения и деятельности «Объединения северных и западных организаций НСДАП», используя при этом широкий круг источников, в том числе архивные материалы и записи бесед с причастными к деятельности этого «Объединения» лицами. Он справедливо критикует некоторые из этих источников, особенно явно неточные мемуары О. Штрассера, гипертрофирующие роль их автора в описываемых событиях⁴⁶. По-видимому, резонным является его упрек Р. Кюнлю в том, что тот чрезмерно доверяет версиям О. Штрассера⁴⁷. Г. Шильдт отмечает, что единого блока гаулейтеров Северной и Западной Германии в описываемое им время не было, в «Объединении» налицо была большая пестрота взглядов и идеологических направлений⁴⁸. В то же время он считает, что целью сторонников Штрассеров был, несомненно, социализм. Так, Г. Штрассера он называет «ведущим социалистом» в НСДАП, Геббельса — «самым значительным социалистом» в нацистском движении, которого от коммунистов отделял лишь его антисемитизм. Р. Лей, будущий руководитель гитлеровского «Трудового фронта», целиком и полностью подчинявшего трудящихся предпринимателям, оказывается «по-человечески чувствовал положение рабочих», а его «социализм» был «родствен классическому идеалу гуманности». «Одним из решительнейших социалистов», был, по мнению автора, и будущий палач Польши и других оккупированных территорий Э. Кох⁴⁹. Характеризуя подобным образом «левых» национал-социалистов и отмечая, что при этом у них не было принципиальных расхождений с Гитлером («Социальные требования Гитлера были ограниченнее, чем у Штрассера. У Гитлера они находились на периферии, у Штрассера — в центре»⁵⁰), Г. Шильдт тем самым характеризует и НСДАП в целом как «социалистическое» течение. Более того, он пытается найти «определенную общность» между коммунистами и национал-социалистами на том основании, что те и другие были якобы едины «в отклонении Веймарской республики и демократии вообще»⁵¹. Показательно, что в отличие от почти всех западногерманских авторов, Г. Шильдт нигде не характеризует «социалистические» лозунги нацистов как демагогию. Он оставляет в стороне вопрос о связях НСДАП с монополистическими кругами и влиянии их на размежевание в ней.

Наиболее обстоятельным и глубоким исследованием деятельности «левых» до сегодняшнего дня остается монография Р. Кюнля. В марксистской литературе уже отмечались демократические исходные позиции автора данной работы, равно как и ее существенные недостатки⁵². Следует отметить, что в появившихся в последние годы статьях и книгах Р. Кюнля его оценка национал-социализма в целом и «левых»

⁴⁵ В данной связи представляется неоправданным обвинение Р. Кюнля и В. Абендрота в попытках «приукрасить» деятельность «левых» нацистов, которое выдвигает Б. А. Филиппов (Филиппов Б. А. Указ. соч., с. 32).

⁴⁶ Strasser O. Hitler und ich. Konstanz, 1948; Strasser O. Exil. München. 1958.

⁴⁷ Schildt G. Op. cit., S. 12.

⁴⁸ Ibid., S. 7, 137.

⁴⁹ Ibid., S. 72, 75—77, 88, 89.

⁵⁰ Ibid., Ibid., S. 81.

⁵¹ Ibid., S. 68.

⁵² Бланк А. С. Указ. соч., ч. II, с. 150; Рахмисир П. Ю. Современная буржуазная историография германского фашизма. — «Методологические и историографические проблемы исторической науки», вып. 7, 8, Томск, 1972, с. 77—78; рецензия М. Вайсбеккера в «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft», 1968, Hf. 4, S. 520—522.

в нем существенно углубилась. Выдвигаемые в них положения снимают значительную часть высказывавшихся ему упреков в недостаточно четком представлении классовой сущности фашизма. В данном случае взгляды Р. Кюнля на проблему «левых» рассматриваются с учетом его публикаций последних лет.

В своей монографии о «национал-социалистской левой» Р. Кюнль прежде всего пытается выяснить условия ее возникновения и активизации. Он видит их в том, что несмотря на стабилизацию с 1924 г. экономической обстановки в стране, социальные сдвиги, развившиеся в Германии после мировой войны, продолжались. Они «особенно затрагивали мелкую буржуазию, экономической самостоятельности которой угрожали процессы концентрации и централизации в промышленности». Мелкий буржуа чувствовал себя ущемленным и со стороны крупной буржуазии и со стороны рабочих с их профсоюзами. Это его настроение усиливалось поражением в войне и его последствиями⁵³. Мелкие торговцы и предприниматели, служащие особенно остро ощущали угнетение со стороны крупных предпринимателей в индустриальных районах Северной Германии. Поэтому нацистская пропаганда «должна была, если она не хотела бить в пустоту, в большей мере выступать в согласии с антикапиталистическими лозунгами»⁵⁴. Подробно анализируя «социалистические» требования программы Г. Штрассера, Кюнль приходит к выводу, что они «не выходили существенно за рамки двадцати пяти пунктов» НСДАП. «Как здесь, так и там, — пишет он, — речь идет о специфическом мелкобуржуазном антикапитализме»⁵⁵. В другом месте своей работы Кюнль отмечает, что касающиеся экономической политики пункты программы НСДАП, хотя она и называла себя рабочей партией, «в целом определенно выражала интересы «старого миттельштанда», мелких производителей, мелких торговцев и ремесленников»⁵⁶.

Точка зрения Кюнля в данном случае представляется правильной. Что касается конкретного содержания социально-экономических разделов «25 пунктов» и программы Г. Штрассера, то они действительно отражали устремления мелкой буржуазии. Другое дело, что национал-социалистские лидеры и не думали о том, чтобы на практике осуществить выдвинутые ими же требования, что в официальных комментариях к «25 пунктам» (написанных псевдонаучным языком и практически оставшихся неизвестными массам) гарантировалась неприкосновенность частной собственности крупнейших капиталистов⁵⁷. Фактически здесь имеет место противоречие между положениями, сформулированными в упомянутых программах, и социально-политической функцией национал-социализма. Суть этого противоречия удачно сформулировали другие ученики В. Абендрота в коллективно написанном ими предисловии к сборнику оценок соотношения фашизма и капитализма. «Антикапитализм программы, — пишут они, — ...находился в противоречии с политической и общественной функцией фашизма и его практикой»⁵⁸. Несовпадение между программными установками и объективной функцией движения, конечно, не является чем-то уникальным в современной истории. Однако в случае с национал-социалистским

⁵³ Kühnl R. Die nationalsozialistische Linke., S. 5—7.

⁵⁴ Ibid., S. 11.

⁵⁵ Ibid., S. 41.

⁵⁶ Ibid., S. 22.

⁵⁷ См.: Сидоров А. Фашизм и городские средние слои в Германии. М., 1936, с. 114—115.

⁵⁸ Faschismus und Kapitalismus. Hrsg. von Abendroth W. Fr. a. M.-Wien, 1967, Einleitung, S. 6.

движением оно проявилось наиболее резко, имело особенно далеко идущие последствия.

Именно это противоречие между программными установками, в которых нашло отражение самосознание мелкобуржуазных сторонников фашизма, и объективной функцией фашистского движения сделало возможным создание массовой базы национал-социализма. Это «зияющее», по словам Кюнля, противоречие и образовало основу социальной демагогии гитлеровцев, позволившей им создать массовое движение, без которого не могла быть утановлена система фашистского господства⁵⁹.

Немалую роль в создании этой массовой базы фашизма сыграли «левые» национал-социалисты. В то же время они по мере расширения контактов Гитлера и его окружения с предпринимателями, и особенно по мере того как вопрос о приходе НСДАП к руководству страной стал ставиться в практической плоскости, по мнению Кюнля, становились помехой для национал-социалистского руководства. Фашистское движение, пишет он, формируется не только потому, что «капиталистические предприятия вскармливают его своей финансовой помощью с тем, чтобы впоследствии использовать его против рабочих организаций». Оно возникает и из социально-экономического кризиса, вызванного трудностями воспроизводства капиталистических отношений. «Фашистское массовое движение возникает спонтанно, имея вполне амбивалентный характер и будучи направлено как против социализма и демократии, так и против капитализма». Однако по мере того как ведущие слои господствующего класса вступают в союз с фашистским движением, «они предоставляют в его распоряжение денежные средства и пропагандистские возможности и требуют взамен, чтобы антикапиталистические элементы внутри фашистского движения были подавлены и вся сила движения использована против «левых»⁶⁰. При этом буржуазная пресса преувеличивала значение «антикапиталистических» формулировок «левых» национал-социалистов, утверждая, что от них, дескать, всего лишь шаг до марксизма, побуждая тем самым руководство НСДАП к более решительному подавлению оппозиции в партии⁶¹. Этому способствовали, по сути дела, и заявления О. Штрассера и его сторонников в печати «Кампфферлага» о том, что их «революционная концепция», будто бы поддерживая в национальных вопросах дойч-националов, в экономических и социальных поддерживает СДПГ и КППГ⁶².

В. Абендрот в предисловии к книге Р. Кюнля о «левых» пишет, что в условиях экономического кризиса, когда шансы НСДАП на приход к власти резко возросли, «северогерманское крыло... быстро потеряло свое внутрипартийное влияние и могло быть нейтрализовано или удалено Гитлером. Мюнхенское руководство партии, которое до сих пор должно было использовать эту группировку, теперь должно было избавиться от всех тех тенденций, которые могли сделать партию сомнительной для вождей экономики»⁶³.

Р. Кюнль решительно выступает против попыток представить «левых» настоящими социалистами. Отмечая, что «для любой политической теории, притязающей на то, чтобы быть социалистической, ключевым является вопрос об отношении к частной собственности», он констати-

⁵⁹ Kühn l R. Bedingungen, Aufstieg und Sieg des Faschismus. — «Blätter für die deutsche und internationale Politik», 1971, H. 1, S. 36, 38.

⁶⁰ Ibid., S. 38.

⁶¹ Kühn l R. Die nationalsozialistische Linke..., S. 70.

⁶² См.: Tyrell A. Führer befiehl..., S. 312.

⁶³ Kühn l R. Die nationalsozialistische Linke..., Vorwort.

рует: «...НСДАП и на своем левом крыле занимала совершенно иную позицию, чем рабочие партии»⁶⁴. Возражая А. Швейцеру и Г. Фабри, характеризующим «левых» как социалистов, Кюнль пишет: «Национал-социалистские левые были выразителями антикапиталистических настроений средних слоев, которые тем не менее строго придерживались принципов буржуазного общества»⁶⁵. Полемизируя по аналогичному поводу с М. Брозцатом, он пишет, что речь должна идти не более чем «об антикапиталистических стремлениях мелких собственников, которые были направлены лишь против крупного капитала, но твердо стояли на базе частной собственности»⁶⁶. «Антикапиталистическая агитация НСДАП имела только демагогическую функцию: таких лозунгов требовали мелкобуржуазные массы», — пишет Р. Кюнль⁶⁷.

Концепция Р. Кюнля относительно характеристики течения «левых» и их роли в национал-социалистском движении близка к марксистской. Она, конечно, не свободна от недостатков. Конечно, нельзя согласиться с автором, когда он характеризует национал-социалистское движение в целом, как мелкобуржуазное, что свидетельствует о нечетком понимании им классовой сущности фашизма и идеализации «ранней» НСДАП⁶⁸. Однако справедливости ради надо заметить, что подобная неудачная формулировка применяется им в основном в том контексте, где он говорит о социальном составе НСДАП, а не о ее объективной функции. Недостатком является и недифференцированный подход Кюнля к мелкой буржуазии — без попыток выделить именно ту ее часть, на которую базировались «левые». Кюнль не противопоставляет демагогию лидеров «левых», среди которых подвизался и такой виртуоз политической лжи и обмана, как Геббельс, и настроения их рядовых сторонников. Тем не менее рассматриваемая книга внесла важный вклад в изучение проблемы «левого» национал-социализма и критику его трактовки буржуазной историографией.

В 1967 г. появилась книга американского исследователя Й. Ньюмарки о фракционной борьбе в НСДАП. Одну из глав он посвящает характеристике «левых», «северных фракций», как он называет это течение⁶⁹. В изложении самой истории внутрипартийного конфликта в фашистском движении Ньюмарки не вносит чего-либо существенно нового. Он пишет о том, что на севере нацисты должны были стремиться идентифицировать себя с рабочими, которые составляли здесь большинство. Однако, констатирует он, опираясь на изученные им архивные данные, рабочих в местных группах нацистской партии было вначале очень мало. Кланта, лидер группы в Гамбурге, сообщал в марте 1925 г. партийному руководству в Мюнхене: «Мы имеем лишь пятерых рабочих, завоеванием которых гордимся больше, чем пяти докторов наук». Отчеты других округов за апрель 1925 — февраль 1926 гг. показывали такую же картину⁷⁰.

Ньюмарки приходит к выводу, что сравнение документов «северных фракций» и «25 пунктов» показывает, что различие между ними «не было столь резким, как это обычно рисуют»⁷¹. Он считает, что «социа-

⁶⁴ Ibid., S. 64.

⁶⁵ Kühnl R. Der deutsche Faschismus.— «Neue politische Literatur», 1970, № 1, S. 26.

⁶⁶ Ibid., S. 39.

⁶⁷ Ibid., S. 19.

⁶⁸ Kühnl R. Die nationalsozialistische Linke..., S. 64. На это уже указывали в своих анализах работы Кюнля П. Ю. Рахшмир и А. С. Бланк.

⁶⁹ Nyomarkay J. Charisma and Factionalism in the Nazi Party, p. 71—109.

⁷⁰ Ibid., p. 73—75.

⁷¹ Ibid., p. 80.

листическая ориентация» в 1925—1928 гг. была присуща нацистской партии в целом. «Политика Кампфферлага не была оппозиционной к той, о которой говорил Гитлер в 1925—1929 гг.», — пишет он⁷². «Социалистическая» ориентация партии отразилась и на ее членском составе. «Нацизм, который до 1923 г. базировался на связи со средним классом, после 1925 г. получал существенную часть членов из рабочих и низших классов. На севере и западе подъем движения обеспечили в значительной степени рабочие»⁷³. Эта «несомненно социалистическая ориентация», считает Ньюмарки, была «исправлена» лишь «самим» Гитлером в 1929 г. Это «исправление» совпало с «поворотом по отношению к нацистам в кругах промышленников и консерваторов», поскольку «экономический кризис 1929 г. сделал для большого бизнеса очевидной необходимость широкой социально-политической базы для защиты своих интересов»⁷⁴.

Ньюмарки, таким образом, констатируя ориентацию друг на друга крупного капитала и нацистских лидеров после 1929 г., в то же время присоединяется к широко распространенному в буржуазной историографии тезису о «социалистическом» характере «ранней» НСДАП. Нацистская партия, по его мнению, не имела определенной классовой ориентации, и на разных этапах своего существования ориентировалась на различные социальные силы — до 1923 г. на мелкую буржуазию, в 1925—1928 гг. — на рабочих и низшие слои населения, после 1929 г. — на крупный капитал. Решающая роль в осуществлении этих поворотов принадлежала самому Гитлеру, его харизматическому влиянию на партию.

Главным вопросом, на который пытается ответить Ньюмарки в своем исследовании, является вопрос о том, почему фракционные конфликты в нацистском движении не были, по его мнению, столь драматичными и принципиальными, как конфликты в «марксистских партиях». «Объединение северных и западных организаций НСДАП» в 1925—1926 гг., «Кампфферлаг» в 1926—1930 гг. и штурмовые отряды до 1934 г., представлявшие наиболее динамичные и мощные составные части движения, — пишет автор, — как только Гитлер повернулся против них, распались почти мгновенно... Почему вожди этих фракций, столь очевидно популярные и могущественные, были покинуты своими последователями в решающий момент?»⁷⁵. Причину этого Ньюмарки видит в том, что «нацистская партия базировалась на харизматической легитимации»⁷⁶, т. е. на личных качествах Гитлера, на его способности неотразимым образом влиять на окружающих. «Харизматический авторитет поднимал вождя над фракционными конфликтами... Фракции могли рассчитывать на поддержку членов партии лишь пока они представляли себя действующими от имени Гитлера. Как только они приходили в конфликт с Гитлером, сторонники покидали их и фракция терпела крах»⁷⁷.

Ньюмарки в своей концепции признает определенное значение классовых моментов в развитии конфликтов в нацистском движении, и в первую очередь в деятельности «левых». Однако в конечном счете разгром «левых» и союз НСДАП с монополистическими кругами объясняются им личными решениями «харизматического вождя». Он ги-

⁷² Ibid., p. 90.

⁷³ Ibid., p. 91.

⁷⁴ Ibid., p. 92—93.

⁷⁵ Ibid., p. 3—4.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Ibid., p. 46.

перетрофирует значение организационной структуры НСДАП, не видя ее обусловленности задачей привлечения на сторону наиболее реакционных кругов крупного капитала массовой, главным образом, мелкобуржуазной базы, а не личностью Гитлера.

Характеризуя идеологические позиции лидеров «северных фракций», Ньомарки вслед за целым рядом уже упоминавшихся западно-германских авторов считает их одной из разновидностей «национал-большевизма». На нелепость и явно дезинформирующий смысл этого термина указывает уже то, что сам автор называет это течение «антимарксистским и антиинтернационалистским»⁷⁸, т. е. ничего общего с большевизмом не имеющим.

Значительно более грубую, чем Ньомарки, попытку представить «левых» национал-социалистов и НСДАП в целом носителями «социалистических» идей, доказать «пролетарский» характер германского фашизма предпринимает американский историк М. Келе⁷⁹. Он всерьез воспринимает обращенную к рабочим демагогию национал-социалистов, пытается доказать наличие у гитлеровцев «социальной теории», в соответствии с которой «рабочие играли важную роль в нацистском анализе социальной действительности»⁸⁰. Что касается «левых», то, по мнению М. Келе, неверно переоценивать их самостоятельность во всех отношениях. Ни Г. Штрассер, ни другие лидеры «левых» никогда не пытались оспаривать руководящее положение Гитлера в партии и его авторитет. Хотя Келе и выступает против тех историков, «которые имеют тенденцию приуменьшать или игнорировать серьезные идеологические дискуссии, бывшие реальной причиной фракционной борьбы в НСДАП», он отказывается от попыток определения социальной основы этих дискуссий. Келе резко отрицательно отзываясь о «написанном на неомарксистском языке» анализе социальной базы «левых» у Р. Кюнля⁸¹. Американский историк считает, что и «левые», «штрассериты», как он их называет, и НСДАП в целом ориентировались на рабочий класс. В доказательство этого положения Келе приводит заявление Гитлера о том, что целью его является «утвердить свастику на каждом заводе, в каждом цехе», и факты поддержки нацистской пропагандой отдельных забастовок в 1927—1928 гг., и создание НСБО — национал-социалистских производственных ячеек. Гитлер, считает автор книги, «стоял над идеологическими дискуссиями» в партии, не возражая против «абстрактного социализма» сторонников Г. Штрассера. Резко выступал он лишь против их «восточной ориентации», под которой буржуазные авторы понимают высказавшиеся Геббельсом и другими деятелями «левых» демагогические заявления о целесообразности союза Германии с «национальной», «освободившейся от марксизма» Россией против «версальских угнетателей»⁸².

Деятельность «левых», считает Келе, оказала «сильное и устойчивое влияние на развитие НСДАП». Он совершенно справедливо замечает, что объективно функцией «левых» было «освободить рабочих от марксизма», посредством пропаганды мнимого «социализма» привлечь их на сторону национал-социализма⁸³. Однако в отличие от почти всех других исследователей, Келе считает, что «левые» и НСДАП в целом

⁷⁸ Ibid., p. 94.

⁷⁹ Kele M. *Nazi and Workers*. Chapel Hill, 1972. См. рецензию П. Ю. Рахшмира в «Новой и новейшей истории», 1974, № 4, с. 225—226.

⁸⁰ Kele M. *Nazi and Workers*, p. 29.

⁸¹ Ibid., p. 84—85.

⁸² Ibid., p. 79—80, 122, 213—214, 29, 98.

⁸³ Ibid., p. 69, 99.

добились в этом отношении поставленных целей. Доказательство этого тезиса и является стержнем его работы. Келе считает, что уже в 20-е гг. в Германии стерлись существенные различия между рабочим классом и средними слоями. «Экономические различия между средним классом и рабочим классом в 20-х гг. исчезли», — пишет он⁸⁴. Исходя из этого абсолютно неверного даже с точки зрения большинства буржуазных авторов положения, Келе считает возможным писать о том, что «если добавить к... числу промышленных рабочих (членов НСДАП. — Н. Ч.), работающих по найму служащих, ремесленников и сельскохозяйственных рабочих, то более половины членов НСДАП могут быть классифицированы как «рабочие» в широком смысле этого слова»⁸⁵. Келе пишет даже о «классовом характере нацистской партии как партии рабочих»⁸⁶. Как мы видим, в стремлении доказать свои фальсифицирующие характер нацистского движения тезисы, американский историк порывает с элементарными нормами научной добросовестности. Его позиция объективно совпадает со штампом нацистской пропаганды о «рабочих рук и головы» («Arbeiterum der Faust und der Stirn»), прямо нацеленным на ликвидацию классового самосознания трудящихся.

«Левые», считает Келе, всегда были в НСДАП и говорить, как это делают другие авторы, о «разгроме» их и об окончательном оформлении союза Гитлера с правыми кругами, не следует. «Несмотря на правый курс, проводимый им в 1930—1932 гг., Гитлер не «разгромил» левое крыло в своей партии, — пишет он. — Напротив, ему была предоставлена как раз в эти годы свобода агитации и организации»⁸⁷. Таким образом, несмотря на «правый курс» Гитлера, вся нацистская партия оказывается у Келе «левой», «рабочей», «социалистической», но отнюдь не партий наиболее реакционных кругов крупного капитала.

Если говорить о западногерманской историографии, наиболее интенсивно занимающейся данной темой, то в ней, как в оценке национал-социализма в целом, так и в оценке «левых», в настоящее время преобладает трактовка, даваемая историками либерального направления⁸⁸. Примером являются обобщающие работы по истории германского фашизма лидеров этого направления К. Д. Брахера и М. Брозцата.

Брахер, характеризующий НСДАП как партию мелкой буржуазии, как «сборную партию средних слоев населения»⁸⁹, считает сторонников Штраассера носителями «антикапиталистической» тенденции этих слоев. Рабочих, как он неоднократно подчеркивает, нацистской партии на свою сторону в целом привлечь не удалось⁹⁰. Ориентация Гитлера на «новых друзей в промышленности и торговле», для которой деятельность «левых» создавала определенные затруднения⁹¹, привела к разрыву с последними. Гитлер легко добился победы, поскольку он был «абсолютным, единственным центром кристаллизации в движении и в то же время стоял над ним»⁹².

⁸⁴ Ibid., p. 73.

⁸⁵ Ibid., p. 215.

⁸⁶ Ibid., p. 213—214.

⁸⁷ Ibid., p. 216—217.

⁸⁸ См.: Корнева Л. Н. Проблемы сущности германского фашизма и взаимоотношений монополистического капитала с национал-социалистической партией в 1919—1933 гг. в буржуазной историографии ФРГ. Канд. диссертация. Томск, 1975.

⁸⁹ Bracher K.-D. Die deutsche Diktatur. Berlin (West), 1969, S. 173.

⁹⁰ Ibid., S. 170—172.

⁹¹ Ibid., S. 146, 198.

⁹² Ibid., S. 161.

Брозцат считает причиной усиления «социал-революционной тенденции в НСДАП» то, что нацистская партия «в индустриально-городских центрах Северной и Западной Германии интенсивнее сталкивалась с социалистически организованными рабочими»⁹³. Он отмечает отсутствие принципиальных расхождений сторонников Штрассеров с гитлеровским руководством. Курс их, пишет он, был «определенно ориентирован не программными вопросами, а соображениями пропаганды, имея в первую очередь целью превратить социальное недовольство в национальную динамику». Тем не менее он «едва ли был совместим с буржуазными и консервативными представлениями национальной правдой»⁹⁴, что и привело к его ликвидации Гитлером. Брозцат считает также причиной поражения «левых» «харизматический» характер движения, «мировоззрение коего воплощалось в Гитлере, без которого оно теряло всю свою интегрирующую силу»⁹⁵.

В общем и целом воспроизводит оценки Брахера и Брозцата работа молодого западногерманского историка Вильгельма Хорна о внутрипартийных проблемах НСДАП до ее прихода к власти. В ней значительное место отведено характеристике «левых» национал-социалистов. Хорн констатирует, что «вопрос о месте и значимости «национального социализма» в НСДАП все еще спорен»⁹⁶. Хорн также считает, что причина неудачи фракционных движений в нацистской партии лежала в принципе «фюрерства», которым она руководствовалась. «Левые» не имели никаких шансов, пишет он, «пока масса членов партии соглашалась с притязаниями «фюрерской» идеологии и видела в Гитлере воплощение национал-социализма»⁹⁷. Причину же развития этой «идеологии» автор видит в том, что в сложной обстановке колоссальных социальных и политических потрясений в Германии «широким слоям населения бегство от собственной ответственности под крылышко сильного руководства казалось единственным выходом»⁹⁸.

Если говорить о мелкобуржуазных слоях населения, то автор, очевидно, прав, отмечая эту особенность их настроений в данный период. Именно это их стремление к отказу в сложной обстановке от собственных решений, к тому, чтобы спрятаться за «сильную личность», и было использовано в своих целях фашизмом. Хорн, однако, говорит о таких настроениях применительно ко всему населению Германии. Как и Ньомарки, он не видит классовых и политических основ идеологии «фюрерства», передвигая их в область социальной психологии. Не видит он и классовой обусловленности слабости «левых».

Работа Хорна содержит ряд реалистических, верных оценок деятельности «левых» в НСДАП в целом. Отмечается, что «от рабочего класса НСДАП смогла оторвать только периферийные слои», что постоянно повторявшиеся призывы «выиграть» рабочих для «национальной идеи» были «слишком прозрачны для маскировки того, что Гитлер отводил рабочему классу в своих политических расчетах лишь функцию инструмента». Хорн констатирует, что образование национал-социалистских профсоюзов тормозилось не недостатком средств и кадров у партии, как заявляло руководство национал-социалистов, а опасениями, что это «затруднит... сближение Гитлера с пропагандист-

⁹³ Broszat M. Der Staat Hitlers.— «Deutsche Geschichte seit dem Ersten Weltkrieg», Bd. 1, Stuttgart, 1971, S. 521.

⁹⁴ Ibid., S. 522.

⁹⁵ Ibid., S. 529.

⁹⁶ Horn W. Führerideologie und Parteiorganisation in der NSDAP (1919—1933). Düsseldorf, 1972, S. 21.

⁹⁷ Ibid., S. 427.

⁹⁸ Ibid., S. 27.

ски атакуемым «капитализмом» и может обострить внутривнутрипартийную борьбу в НСДАП»⁹⁹. Причину возникновения «левого» крыла в НСДАП Хорн видит в разнородности социального состава этой партии. Он, однако, не делает попытки конкретно определить его базу. Отмечается, что у «левых» не было четко сформулированной общей линии: внутри «Объединения северных и западных организаций НСДАП», пишет он, при «относительно прочных организационных рамках развились весьма разнообразные и противоречивые точки зрения»¹⁰⁰. Излагая историю событий, приведших к отколу группы О. Штрассера от НСДАП, Хорн отмечает, что хотя в этот период социальный состав гитлеровской партии «существенно не изменился, экономический кризис усилил осознание сторонниками национал-социализма фактической разноречивости их интересов и тем самым обострил внутривнутрипартийные напряжения»¹⁰¹.

Характеризуя концепцию «левых», Хорн считает, что ее основным содержанием было «отклонение капиталистической хозяйственной системы, подчеркивание интересов лиц наемного труда, т. е. более точная интерпретация «антикапиталистических» пунктов программы»¹⁰². Основным же содержанием внутривнутрипартийной борьбы он считает стремление части членов партии освободиться от «отождествления «фюрера» и «идеи» посредством конкретизации партийной программы и дискуссии по повседневным политическим вопросам»¹⁰³. Ликвидировать «принцип фюрерства» оппозиции не удалось, и она потерпела поражение — таков его вывод.

Анализ работ буржуазных историков позволяет выделить несколько проблем, имеющих наиболее важное значение в оценке ими деятельности «левых» национал-социалистов. Это — вопрос о причинах появления и усиления «левого» крыла в НСДАП, вопрос о причинах, по которым произошло его столкновение с гитлеровским руководством, вопрос о причинах поражения «левых» в этом столкновении и, наконец, вопрос о значении победы Гитлера над ними для дальнейшего развития нацистской партии и политической обстановки в Германии вообще.

Ответа на первый из этих вопросов многие буржуазные историки, особенно консервативного направления, просто не дают. Они удовлетворяются констатацией наличия в НСДАП «левого» крыла с «социалистическими» тенденциями. Что касается западногерманских историков-либералов, то они, как мы видим из анализа их работ, признают существенное влияние социально-экономических факторов на внутривнутрипартийную борьбу в нацистском движении, дают зачастую реалистические оценки ее. Однако нежелание признать национал-социализм движением, выражающим прежде всего интересы наиболее реакционных кругов крупного капитала, стремление доказать его мелкобуржуазный характер лишает их возможности увидеть то противоречие между социальной функцией и массовой базой фашизма, которое было основной причиной этой борьбы. Они также чрезмерно преувеличивают роль Гитлера и значение политических и идеологических «структур» рассматриваемого периода. Такими структурами, будто бы серьезно влиявшими на ход внутривнутрипартийной борьбы, изображаются католическая и протестантская церкви. Так, И. Фест пишет о «недоверии трезво мыслящих ротестантов с Севера к любящей мелодраму мелкобуржуазной богеме и ее представляющемуся «проримским» курсу»¹⁰⁴.

¹⁰⁰ Ibid., S. 236—237.

¹⁰¹ Ibid., S. 253.

¹⁰² Ibid., S. 250.

¹⁰³ Ibid., S. 231.

¹⁰⁴ Fest J. C. Hitler. Eine Biographie.— «Stern», 1973, № 35, S. 58.

Говоря о причинах разрыва Гитлера с «левыми», большинство буржуазных историков констатирует растущую ориентацию его на открытый союз с крупной буржуазией и «национальными правыми силами», которые не желали терпеть в фашистской партии «социалистическое» крыло, с опаской относясь к его социальной демагогии. «Гитлер стремился убедить буржуазные силы, занимавшие командные высоты... в Веймарской республике, особенно руководство рейхсвера и экономики, в своей лояльности. При всех обстоятельствах он должен был помешать тому, чтобы социалистическое крыло его собственной партии (т. е. «левые» национал-социалисты. — Н. Ч.) испортило этот гешефт», — пишет О. Е. Шюддекопф¹⁰⁵. К. Зонтхаймер подчеркивает, что «Гитлер без колебаний отказался от социалистического компонента своей идеологической смеси, когда в решающие годы своего подъема он смог заручиться поддержкой магнатов индустрии»¹⁰⁶. В то же время отмечается, что Гитлер проявлял «сдержанность» в отношении представителей «левых» и стремился использовать их в своих целях и дальше»¹⁰⁷. Все эти моменты отмечены совершенно справедливо. Однако, как мы видим, буржуазная историография опять же сводит все дело к позиции одного Гитлера, оставляя в стороне вопрос о сущности национал-социализма, как такового.

Свести все дело к личным качествам Гитлера стремится буржуазная историография и при ответе на вопрос о причинах поражения «левых». И. Фест выдвигает на первый план «ловкость» и «силу обольщения» Гитлера¹⁰⁸. Большинство консервативных историков пишут о «демоническом характере» его, которому, дескать, нельзя было противостоять. И. Ньюмарки пишет о харизматическом источнике власти» как определяющем факторе решения фракционных конфликтов в пользу вождя движения¹⁰⁹. При этом многими авторами резонно подчеркивается антидемократический характер НСДАП, в силу которого в массах партии о конфликте между руководителями просто-напросто не знали¹¹⁰. Большинство буржуазных историков, как можно было видеть, констатируют слабость «левого» течения в национал-социализме, но при этом причины ее видят отнюдь не в несоответствии подлинной «левизны» с самим характером фашистского движения.

Что касается значения победы Гитлера над «левым» крылом национал-социалистского движения, то большинство буржуазных авторов, в противоположность точке зрения исследователя-марксиста из ГДР М. Вайсбеккера о «сравнительно малых последствиях» внутрипартийной борьбы для НСДАП¹¹¹, считают, что она привела к решительному изменению характера партии. После ухода О. Штрассера пишет Э. Нольте, «даже самые недоверчивые из капиталистов перестали считать НСДАП партией левых»¹¹². Ф. Глюм считает даже удаление О. Штрассера из национал-социалистской партии чуть ли не главной причиной успеха ее на выборах в сентябре 1930 г., поскольку после этого мелкая буржуазия, которая «во всех странах ничего не боялась более, нежели потери своего общественного статуса в поль-

¹⁰⁵ Schüddekopf O.-E. Op. cit., S. 317.

¹⁰⁶ Sontheimer K. Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik. München, 1962, S. 352.

¹⁰⁷ Nyomarkay J. Op. cit., p. 47.

¹⁰⁸ Fest J. C. Op. cit., S. 62.

¹⁰⁹ Nyomarkay J. Op. cit., p. 36, 46—47.

¹¹⁰ Tyrell A. Op. cit., S. 313.

¹¹¹ Weißbecker M. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, S. 405.

¹¹² Nolte E. Der Faschismus in seiner Epoche. München, 1963, S. 413.

зу рабочих», перешла на ее сторону¹¹³. Тем самым проводится грань между «ранней» и «поздней» НСДАП, предполагается, что «ранняя» НСДАП имела в той или иной степени «социалистические» черты. «Отказ» от них позволил ей сделать решающий рывок к власти.

**

Были ли «левые» национал-социалисты выразителями какой-то тенденции, какой-то стороны самого фашистского движения или носителями чужеродной тенденции, по существу несовместимой с этим движением? Ответ на этот вопрос имеет чрезвычайно важное значение для тех дебатов о «левом фашизме», которые в последние годы разворачиваются в ряде капиталистических стран. Термин «левый фашизм» при этом употребляется в двух смыслах. В одном случае «фашистскими» называют те или иные акции левых сил, например, употребление ими силы против своих политических противников. В другом случае речь идет о выискивании «левых» тенденций, «левого» содержания в фашизме, как таковом. И здесь, и там по существу речь идет о перепевах пресловутой концепции тоталитаризма, давно уже разоблаченной марксистами, подвергаемой критике и многими буржуазными учеными, «сближающей» фашизм и левое движение. В пропаганду подобной точки зрения в последние годы вносит свой «вклад» такой крупный западногерманский исследователь, как Э. Нольте. Если в недавнем прошлом он сыграл немаловажную роль в критике «доктрины тоталитаризма», то в последние годы, под влиянием усиления демократического и особенно студенческого движения в ФРГ, он перешел на крайне реакционные позиции и защищает сейчас те позиции, которые недавно критиковал. «Если хотя бы часть левых не так уж лева, — пишет он, — то, возможно, и фашизм в целом не так уж прав, как считает это широко распространенное мнение». Нольте доходит до кощунственной формулировки о том, что «марксизм есть фашизм социализма и тем самым собственно и есть левый фашизм». В то же самое время он всерьез пишет о том, что «никто и ничто не могло помешать Гитлеру в 1939 г. без исключения экспроприировать промышленников, если бы они оказали ему сопротивление»¹¹⁴, т. е. осуществить в его понимании социализм. Политическая направленность подобного рода словесных выкрутасов и бездоказательных предположений совершенно очевидна — все относительно в этом мире, все политические фронты условны, левое студенческое движение (оценка которого в данном случае и является целью Нольте), борющееся против фашизма и войны, само, дескать, не понимает, насколько оно близко по истинной мотивации своих поступков к ненавидимому им фашизму. «Само желание искоренить войну, — пишет он, — посредством искоренения (!?) господствующих классов показывает архаическое стремление к эрзац-войне и к тому, чтобы дать выход агрессивным инстинктам биологической природы человека»¹¹⁵. Стремление к миру таким образом оказывается агрессивным, «левое» оказывается по существу «фашистским» — таков итог этих псевдотеоретических упражнений.

Марксистская историческая мысль отвергает как ненаучные и политически реакционные утверждения о «левом» содержании фашизма и «фашистских» тенденциях в левом движении. Изучение «левого»

¹¹³ Glum F. Der Nationalsozialismus. München, 1962, s. 160—162.

¹¹⁴ Nolte E. Studentenbewegung und «Linksfaschismus.» — «Hamburger Zeitschrift für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik», Tübingen, 1971, s. 239—240.

¹¹⁵ Ibid., S. 246.

национал-социализма, на наш взгляд, показывает, что, несмотря на присутствие в рядах этого движения искренних противников капиталистического общественного строя (часть из которых, пусть и небольшая, впоследствии нашла даже дорогу к коммунистам), в целом оно являлось частью фашистского движения 20-х—30-х гг. в Германии, являлось носителем такой его важнейшей функции, как социальная демагогия. В то же время необходимо, очевидно, и дальше заниматься выяснением социальной природы и политических устремлений как тех в основном мелкобуржуазных групп, которые, объективно имея определенные возможности участвовать в антикапиталистической борьбе, оказываются вовлеченными в орбиту фашистских движений, так и тех фашиствующих группировок, которые пытаются примазать к революционному движению и, паразитируя на нем, добиться осуществления своих реакционных целей.

В. С. ГУРЬЕВ

«ПЕРСПЕКТИВИЗМ» БЕЗ ПЕРСПЕКТИВЫ

(Некоторые аспекты философии истории Хосе Ортеги-и-Гассета)

Изучение творчества крупнейшего современного испанского философа Хосе Ортеги-и-Гассета (1883—1955) в отечественной историко-философской литературе складывалось долгое время несколько парадоксальным образом. На фоне полного отсутствия не только работ монографического характера, но и обстоятельных статей, Ортега тем не менее достаточно прочно вошел в дежурную «обойму» имен, один только перечень которых автоматически должен был засвидетельствовать несостоятельность и реакционность философствований автора «Восстания масс» и «Дегуманизации искусства». Оценка без анализа, в какую бы остроумную и хлесткую форму она ни была отлита, не заменяет, как известно, аргументированного критического исследования. Мысль эта тривиальна хотя бы вследствие полной бесспорности. Тем не менее в данном случае представляется небесполезным вспомнить и о самоочевидных истинах.

Лишь в последнее десятилетие творчество Ортеги-и-Гассета попадает в поле зрения советских исследователей. Наиболее глубоко и серьезно проанализированы эстетические воззрения испанского мыслителя, его элитарная концепция искусства¹. С меньшей основательностью рассматривались некоторые другие аспекты философии Ортеги².

И все же творчество Хосе Ортеги-и-Гассета в целом ждет еще своей марксистской интерпретации. Отсутствие синтетического обобщающего исследования этого интересного философа объясняется до некоторой степени большим кругом проблем, к которым обращалась мысль Ортеги-и-Гассета. Философ культуры в самом широком смысле слова, он оставил заметный след в эстетике, этике, литературоведении, искусствознании, философии истории, политическом мышлении буржуазной науки XX столетия.

Бесспорно, конечно, что Ортега не является светилом первой величины на небосклоне современной буржуазной философии. Однако стоит особо подчеркнуть тот факт, что степень непосредственного, прямого воздействия на сознание широкого читателя у испанского мыслителя выше, чем у корифеев академической западной философии. Если специфический, весьма усложненный язык последних затрудняет им

¹ Давыдов Ю. Н. Искусство и элита. М., 1966, с. 277—319; Долгов К. М. Философия культуры и эстетика Хосе Ортеги-и-Гассета.— В сб.: О современной буржуазной эстетике, вып. 3. М., 1972.

² Бондаренко Н. Д. Некоторые аспекты проблемы человека в философии Ортеги-и-Гассета.— Историко-философский сборник. М., 1968; Капланов Р. М. Х. Ортега-и-Гассет и его концепция «массового общества».— Проблемы испанской истории. М., 1975.

прямой контакт с широкой публикой, которая в большинстве своем знакомится с их идеями через вторые и третьи руки, то Хосе Ортега-и-Гассет общается с читателем без посредников. Незаурядный литературный дар, умение говорить о самых сложных вещах достаточно, просто, обходясь без флера ученого академизма, наконец, подкупающая искренность и определенность собственной позиции — неотъемлемые черты духовного облика Ортеги.

Если принять во внимание даже только последний — практически-идеологический — момент, необходимость активизации марксистской историко-философской мысли в тщательном, вдумчивом анализе многогранного наследия Ортеги-и-Гассета становится очевидной. Разумеется, при этом не следует забывать, что мы имеем дело не с сомнительным философствующим политическим публицистом, но с оригинальным мыслителем, у которого равно поучительны как взлеты и прозрения, так и падения и поразительная подчас слепота.

**
**

Предлагаемая статья, как явствует из ее заглавия, ни в коей мере не претендует на попытку всестороннего рассмотрения творчества Хосе Ортеги-и-Гассета. Более того, мы не стремимся изложить с максимально возможной полнотой весь комплекс идей этого мыслителя, касающийся вопросов философии истории. Наши усилия будут сконцентрированы на попытке уяснения некоторых узловых, принципиально важных моментов ортегианской концепции истории и исторической науки³. Кроме того, представляется необходимым связать философско-исторические воззрения испанского ученого с общим контекстом его творчества. Дело не только в том, что размышления об истории органично слиты у Ортеги-и-Гассета с этим контекстом, вследствие чего их изолированное рассмотрение было бы до известной степени насильем над живой тканью его философии. Гораздо важнее другое. Изолированное рассмотрение философско-исторических штудий Ортеги не в состоянии дать ясный ответ на вопрос: в чем смысл обращения ученого к истории? Без этого ответа изучение философско-исторических построений Ортеги-и-Гассета поневоле превратится по большей части лишь в простую сумму констатаций тех или иных положений.

Побудительным импульсом, исходным пунктом, основным нервом всего творчества Хосе Ортеги-и-Гассета являются судьбы человека и культуры в буржуазном обществе XIX столетия. Несколько упрощая, можно сказать, что развитие Ортеги как мыслителя шло по схеме: констатация кризиса буржуазной культуры — попытка уяснения его причин — поиски путей преодоления кризиса. Первые два момента в аккумулированном виде вошли в самую нашумевшую, получившую резонанс как в Старом, так и в Новом Свете, работу «Восстание масс» (1930). Пути же преодоления кризисных явлений Ортега предложил в не менее знаменитой и снабженной не менее броским названием работе «Дегуманизация искусства» (1925)⁴.

Итак, испанский философ мрачно констатирует, что «Европа находится ныне в самом тяжелом кризисе, какой может только случиться

³ Содержательный, но беглый эскиз некоторых философско-исторических построений Ортеги-и-Гассета см.: Гайденок П. П. Буржуазная философия в поисках реального содержания исторического процесса. — «Вопросы истории», 1966, № 1.

⁴ На первый взгляд, хронология появления этих работ противоречит предложенной схеме развития творчества Ортеги. Однако следует учесть, что «Восстание масс» — это концентрированное и систематизированное изложение мыслей и наблюдений, рассыпанных в его более ранних работах: «Задачи нашего времени» (1923), «Конец революций» (1924), «Атлантида» (1924) и др. Представляется, что, собирая их воедино под переплет отдельной работы, Ортега как бы повторил для не очень вниматель-

с народами, нациями, культурами»⁵. Такие явления возникали в прошлом неоднократно, однако отличительной чертой современного положения выступает перспектива полного и безоговорочного господства варварства в Европе. Если не произойдет радикальных перемен, предупредит Ортега, воцарение варварства произойдет в ближайшие тридцать лет⁶.

Диагноз болезни сформулирован предельно лаконично: «восстание масс». «Мы живем под brutальным господством масс»⁷. «Масса», «толпа», «человек-масса», «средний человек» — вот та раковая опухоль, метастазы которой, по мнению Ортеги, проникли буквально во все сферы жизни европейского общества.

Не станем спешить с выводом, что под «массой» и ее синонимами испанский философ понимает только народные массы и только в том смысле, в каком это понятие употребляется в нашей литературе⁸. Прислушаемся к самому Ортеге. По его утверждению, «общество всегда является динамическим единством двух факторов: элиты и масс. Элита есть индивиды или группа индивидов специальной квалификации; масса есть совокупность (людей — В. Г.), не обладающая особой квалификацией»⁹. Проще говоря, массы есть все, что не есть элита.

Столь жестко сформулированная элитарная концепция общества позволяет предполагать (при условии достаточной последовательности автора), что понятие массы, «толпы» трактуется Ортегой достаточно широко. И действительно, «деление общества на массы и элиту есть деление не по социальным, а по человеческим категориям; оно не нуждается в совпадении с ранговым делением высших и низших классов... Строго говоря, в каждом социальном классе имеется подлинная масса и подлинная элита»¹⁰. Продолжая настаивать на «человеческой» стратификации общества, Ортега подчеркивает: «Под массой понимаются здесь не только и не в первую очередь «рабочие массы». Масса есть средний человек»¹¹.

Элитарная концепция, предложенная Хосе Ортегой-и-Гассетом, откровенно не оригинальна как в постановке проблемы, так и во многих аспектах ее осмысления. Поэтому когда Ортега с пафосом излагает свое кредо: «...я никогда не говорил, что человеческое общество должно быть аристократическим», ибо «по всей своей сути оно есть аристократическое»¹², — осведомленный читатель не обнаружит здесь ничего нового. Было! Было, скажем, у француза И. Тэна, у немцев А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, у швейцарца Я. Буркхардта да и у многих других мыслителей. Когда Ортега воспекает элиту как единствен-

ного читателя (или для себя!) весь ход своих размышлений, венцом которых были слишком уж неожиданные рецепты спасения культуры, предложенные в «Дегуманизации искусства».

⁵ Ortega y Gasset, J. *Gesammelte Werke*, Bd. III. Stuttgart, 1956, s. 7.

⁶ Ibid., s. 41.

⁷ Ibid., S. 14.

⁸ Первым в нашей литературе обратил внимание на неправомерность такого толкования «массы» в концепции Ортеги-и-Гассета К. М. Долгов. (Указ. соч., с. 19—20).

⁹ Ortega y Gasset, J. *Gesammelte Werke*, Bd. III, S. 9.

¹⁰ Ibid., s. 11.

¹¹ Ibid., s. 9. Ср.: «Под массой... не понимается специально рабочий; масса не обозначает здесь общественный класс, но класс или вид человека, который ныне выдвинулся вперед во всех общественных классах и потому характерный для нашей эпохи, которую он определяет и над которой господствует». (Ibid., s. 87). Не следует, впрочем, полагать, что социально-политические движения народных масс вызывали симпатии Ортеги. В полном соответствии со своими элитарными установками он усматривал в них все то же восстание ненавистного ему «среднего человека». См.: Ortega y Gasset, J. *Op. cit.*, s. 70—76.

¹² Ortega y Gasset, J. *Gesammelte Werke*, Bd. III, s. 14—15.

ную хранильницу всех духовных завоеваний человечества и единственного творца новых шедевров духа, когда он рассыпает барабанную дробь тревоги в виду реальной угрозы уничтожения аристократии, мы вновь можем констатировать: было, не ново.

Как ни странно, но эти недостатки (убийственные для репутации мыслителя) превращаются в «Восстании масс»; в определенное достоинство. Стремление Ортеги писать так, как если бы он начинал с *tabula rasa*, выступает сознательным приемом, дающим автору известное преимущество и работающим на реализацию той цели, которую он ставит перед своей работой. Понимая всю условность и рискованность подобного рода сравнений, осмелимся все-таки уподобить «Восстание масс» крику ужаса, который должен привлечь внимание самой широкой публики и заставить ее тем самым пристальнее взглянуть в окружающую действительность, осознать всю бездонность пропасти, куда, уверен Ортега, уже начало соскальзывать европейское общество. Оказавшись под колесами автомобиля, человек кричит, а не вспоминает правила дорожного движения. Освобождение от необходимости постоянных отсылок читателя к тем или иным авторитетам и приоритетам позволяет испанскому философу говорить свободно, на едином дыхании, предельно взволнованно о том, что владело его сердцем и мыслями.

• Но даже упрекая Ортегу во вторичности, не следует забывать о той временной дистанции, что отделяет его от создателей «классической» элитарной теории. Она позволила автору «Восстания масс» не только внести некоторые уточнения в картину, нарисованную его предшественниками, но и добавить в нее ряд деталей, ранее не откристаллизовавшихся и существовавших в виде тенденций. В частности, это относится к достаточно расплывчатому понятию «массы», приобретающему у Ортеги-и-Гассета несколько более реальные, конкретные черты.

Ортегианское понимание «массы» не следует искать в строго фиксированных дефинициях. Изначально предложенный им принцип деления общества на элиту и «толпу», лишенных каких-либо социальных характеристик, с порога снимает возможность любого определения, кроме, пожалуй, психологического. И дефиниции Ортеги покорно укладываются в прокрустово ложе исходных посылок; первой же жертвой становится сам автор. «Строго говоря, — признается ученый, — остается определять массу как психический факт... О каждой отдельной персоне можно знать, является она массой или нет. К массе относится каждый, кто по особым причинам — хорошим или дурным — не придает себе какой-то самооценности, но просто-напросто считает себя за среднее и не содрогается от этого в ужасе, каждый, кто прекрасно чувствует себя в своей шкуре, когда замечает, что он точно такой же, как и все»¹³.

Не трудно заметить, что такого рода формулировки более уместны в заключении психиатра, нежели в устах философа, рассуждающего о состоянии современного ему общества. Психическое состояние отдельного индивида (даже если он выступает в качестве родового понятия «средний человек») не может, как известно, явиться зеркалом, в котором отражается психологическое состояние общества в целом или какой-то определенной его части. Короче, психиатр и психолог-клиницист должны здесь уступить место специалисту по социальной психологии. Отметим сразу, что «клиницистский» оттенок — явление не единичное и не случайное в философии Ортеги-и-Гассета. Оно

¹³ Ibid., s. 10.

тесно связано с одним из лейтмотивов его творчества: попыткой исследования природы человека «вообще», то есть с практически полной элиминацией его социальных параметров. Ниже мы коснемся этой проблемы. Пока же только обозначим ее и вернемся к ортегианскому истолкованию «массы».

Наиболее ясное представление о нем мы можем получить не из определений, но из анализа неких «моментальных снимков» или зарисовок «толпы», рассыпанных по отдельным страницам сочинений Ортеги. Каждая такая зарисовка схватывает какие-то существенные (с точки зрения рассматриваемого нами мыслителя) черточки «среднего человека», из совокупности которых складывается его портрет.

«Человек-масса» примитивен, вульгарен, невежествен, но обладает апломбом, который делает его вульгарность и невежество неуязвимыми. Чувство неуязвимости создается сознанием того, что он — «как все», то есть сознанием принадлежности к большинству. В сфере чисто интеллектуальной этот тип человека действует непостижимым образом с точки зрения нормального человеческого разума, но в полном соответствии со своей логикой. Для него характерно чувство... интеллектуального превосходства и собственной непогрешимости, чьим фундаментом является все то же сознание принадлежности к большинству. Плоть от плоти и кость от кости «массы», такой «мыслитель» может безмятежно порождать чудовищных ублюдков в полной уверенности, что «масса», во-первых, признает их своими, во-вторых, объявит новым шедевром духа и, наконец, осыпет «творца» почестями и благами.

К тому же «средний человек» далеко не безобиден. В нем живет инстинктивная ненависть ко всему, что выходит за рамки его нормативных представлений и стремление увидеть в качестве идеала все человечество столь же безликим и серым, как и он сам. Называя XX век эпохой усреднения, Ортега с горьким сарказмом замечает, что процесс этот дошел до стадии нивелирования целых континентов и даже половых различий¹⁴. Для утверждения своего господства «масса» не задумываясь пускает в ход силу. Современная цивилизация, по Ортеге, есть «попытка сделать насилие *ultima ratio*, объявить «насилие *prima-ratio*, точнее *unica ratio*»¹⁵.

Наконец, к этому психологическому портрету добавляется характеристика социальная. Еще в работе о Канте (1924; 1928) Ортега-и-Гассет развивал идею, что каждой исторической эпохе соответствует особый тип человека. В современном мире господствует тип буржуа, который является «индустриальным человеком и адвокатом»¹⁶. Ортега не оставляет читателю никаких сомнений относительно социального адреса «современного варвара». «У кого ныне в руках общественная власть? Кто отпечатал на времени штампель своего духовного облика? — вопрошает испанский философ. И недвусмысленно отвечает: «Несомненно, буржуазия. Кто внутри буржуазии оценивается как высшая группа, как аристократия современности? Несомненно, образованные люди: инженер, врач, финансист, преподаватель... Кто внутри этой группы представляет ее в наиболее совершенном и чистом виде? Несомненно, ученый», который «является прототипом человека-массы»¹⁷.

¹⁴ Ibid., s. 20.

¹⁵ Ibid., s. 59.

¹⁶ Ortega y Gasset, J. *Gesammelte Werke*, Bd. II. Stuttgart, 1955, s. 421.

¹⁷ Ortega y Gasset, J. *Gesammelte Werke*, Bd. III, s. 87. В приведенной цитате прозвучал еще один важный мотив философии Ортеги-и-Гассета — антитехнократический. Не ставя задачу подробного его анализа, укажем только, что Ортега — один

В нашей литературе акцентировался главным образом антидемократизм Ортеги-и-Гассета, сугубо негативная оценка которого вполне справедлива. Однако мы не вправе забывать об остром антибуржуазном критицизме автора «Восстания масс», поскольку это отнюдь не случайный «нюанс», но важная часть мировоззрения испанского ученого.

Радикализм критики Ортегой-и-Гассетом буржуазного общества и государства не нуждается ни в преувеличении, ни в преуменьшении. Ее уязвимые места очевидны. Возможности ее ограничены рамками аристократическо-элитарной основы, стоя на которой Ортега мечет свои критические стрелы. Кроме того, Ортега, как и многие другие буржуазные мыслители, склонен мыслить только «глобальными» категориями, рассуждая о человеке «вообще», культуре «вообще», государстве «вообще» и т. д. Отсюда неизбежно вытекает беспомощность в решении проблемы, как бы верно она ни была поставлена, отсюда рискованные, часто неправомерные исторические аналогии, вплоть до отождествления большевизма и фашизма¹⁸, отсюда пренебрежительное отношение к марксизму, основанное, мягко говоря, на весьма поверхностном с ним знакомстве. Отсюда, короче, многие качества, являющиеся достоянием не столько персонально Хосе Ортеги-и-Гассета, сколько буржуазной науки об обществе в целом.

Если сопоставить ортегианскую во многом впечатляющую апокалиптическую панораму кризиса буржуазной культуры и его же попытку вскрыть причины разворачивающейся катастрофы, то возникнет удивительно противоречивая и самой противоречивостью своей поучительная картина. Такое сопоставление с наибольшей, быть может, наглядностью обнаруживает как блеск, так и нищету мысли испанского философа. За внешним конфликтом эпохи (элиты и «массы») стоит, по Ортеге, конфликт глубинный. Он коренится в несовпадении темпов роста культуры и цивилизации¹⁹. Бурный рост последней ведет к падению уровня культуры. Относительная простота и доступность пользования благами цивилизации порождает у «масс» опасную иллюзию о такой же простоте и доступности культуры.

...Здесь читатель вправе ожидать от автора некоторых разъяснений. Ближайшие из них: чем вызван небывалый рост цивилизации? Почему завоевания цивилизации понижают уровень культуры, а не способствуют ее лучшему и более широкому усвоению и на этой основе стремительному взлету к новым вершинам? Однако читателя, задающего эти вопросы, можно с полным основанием упрекнуть в невнимательном чтении Ортеги-и-Гассета. Его философия заранее предопределена к невозможности ответить на них. Спиритуализм Ортега отвергает, материалистическое объяснение коробит его вкус. Добровольный пленник «глобальных» категорий, он не замечает, что подменяет объяснение конфликта элиты и «массы» введением новых, столь

из первых мыслителей новейшего времени, который указал на опасность технократии и поставил эту тенденцию современности на уровень важной проблемы.

¹⁸ Ortega y Gasset, J. *Gesammelte Werke*, Bd. III, s. 75.

¹⁹ Понимание культуры и цивилизации у Ортеги-и-Гассета напоминает шпенглеровское. Понятие цивилизации включает в себя совокупность технических средств и методов, направленных на покорение и освоение природы с целью достижения максимально возможного материального комфорта для человеческого существования. Культура же понимается как сфера художественной деятельности человека, то есть включает в себя прежде всего литературу и искусство. (См.: Ortega y Gasset, J. *Gesammelte Werke*, Bd. III, s. 64—69). Характерно, что Ортега исключил из сферы культуры науку, которая, по его мнению, служит цивилизации, ускоряет ее развитие и несет, таким образом, немалую долю ответственности за небывалый количественный рост «толпы». Выше указывалось, что раздраженный Ортега безоговорочно относит «человека науки» к «человеку-массе».

же абстрактных, не поставленных в социальный контекст понятий, каковыми выступают «культура» и «цивилизация» в его истолковании. Прodelав эту операцию, Ортега вновь возвращается на почву психологических характеристик, где чувствует себя много увереннее.

Иллюзия доступности культуры, продолжает он, утверждает в сознании «среднего человека»: «1) наивное убеждение, что жизнь легка, обильна, без судьбой предопределенных ограничений. Поэтому каждый индивид обнаруживает в себе чувство господства и триумфа, которое 2) призывает его утвердить самого себя таким, каков он есть, объявить свой нравственный и интеллектуальный багаж доброкачественным и совершенным. Это удовлетворение собой ведет его к тому, чтобы не признавать никаких авторитетов кроме собственного, ни к чему и ни к кому не прислушиваться, не подвергать сомнению собственные мнения и игнорировать существование чужого Ты. Внутреннее чувство всемогущества беспрерывно побуждает homo vulgaris пускать в ход свой перевес. Он действует так, будто в мире существует лишь он один и ему подобные, и 3) лезет повсюду, спрашивают его или нет, со своими банальными суждениями без раздумья, подготовки, такта в соответствии с «тактикой твердой руки»²⁰.

Мы подошли к главной и самой мучительной проблеме творчества Хосе Ортеги-и-Гассета: как спасти культуру (=элиту!) от несущей ей гибель «твердой руки» торжествующего «человека-массы»? Пытаясь разрешить ее, автор «Восстания масс» оказался в крайне затруднительном положении. Путь революционного социалистического переустройства общества был для него, разумеется, совершенно неприемлем. Но столь же неприемлем оказался путь, предложенный мыслителем, чье влияние на Ортегу неоспоримо. Речь идет о Фридрихе Ницше. Диктатура элиты, предложенная им в качестве альтернативы диктатуре пролетариата, не выглядела соблазнительным предприятием для обладавшего качественно иным социальным опытом Ортеги-и-Гассета. Точнее, не столько сама идея диктатуры элиты, сколько пути ее реализации и brutality «белокурой бестии». Ибо в опыт испанского мыслителя вошли в числе прочего первая мировая война, ростки набирающего силу германского фашизма и явивший миру к тому времени свое лицо его итальянский собрат. Важнейший же урок нового опыта гласил: история с особой силой поставила в XX веке проблему ответственности мыслителя за каждое сказанное им слово, за любую выдвинутую им идею. «Вдруг» выяснилось, что Политика может взять на вооружение не только эйфорические ницшевские видения «сверхчеловека», но и облаченную в строгий академический фрак «элан виталь» А. Бергсона. Даже гегелевская идея о подчинении личности всеобщему обнаружилась в XX веке такие неожиданные и стремительные выходы в практику, что Ортега в сердцах назвал его философию «императорской, цезаристской, чингисхановской»²¹.

Наконец, для Ортеги-и-Гассета выявилась полная бесперспективность любого подвижничества в либерально-просветительском духе. Оно зиждилось, выражаясь старомодно, на убеждении, что интеллигенция должна нести свой крест, сея «разумное, доброе, вечное», и уверенности в конечной победе человеческого духа. Однако отчаявшемуся Ортеге «стало ныне совершенно ясно, что попытка духа осуществить мировое господство потерпела поражение. Ему не следует стремиться делать человека счастливым, потому что он теряет в этом предприятии

²⁰ Ortega y Gasset, J. *Gesammelte Werke*, Bd. III, s. 77.

²¹ Ortega y Gasset, J. *Gesammelte Werke*, Bd. I. Stuttgart, 1954, s. 376.

свои творческие силы». Ибо занимаясь просветительством, «этой апостольской работой, мыслитель все более и более фальсифицирует свое первоначальное учение и то, что он держит после всего этого в руках, является всего лишь еще одной карикатурой»²².

В этих словах — ключ к пониманию весьма своеобразного рецепта спасения культуры, который предложил Хосе Ортега-и-Гассет. Суть его в следующем²³: тотальному нивелированию должно противостоять искусство (= культура) качественно иного порядка и свойства. Пределы посягательства «массы» на искусство находятся в прямой зависимости от степени доступности последнего для сознания «среднего человека». Вообще-то Ортега убежден, что сознанию «человека-массы» в принципе недоступно понимание любого творения истинной культуры. Но до тех пор, пока искусство будет продолжать использовать традиционные средства и методы художественного выражения, у «толпы» будет сохраняться иллюзия его доступности и постижимости. Ибо у «среднего человека» не возникает и тени подозрения, что одни и те же понятия, употребляемые на уровне обыденного сознания и в искусстве, не только не адекватны, не только разновелики, но зачастую прямо противоположны и враждебны по смыслу. На этом факте основывается вторжение «человека-массы» в сферу культуры; она лишается таинственного жреческого ореола и становится рядовым занятием, «не хуже и не лучше других». Вот здесь, по мысли Ортеги, и необходимо воздвигнуть непреодолимый барьер «среднему человеку». Искусство должно заговорить на совершенно новом языке, смысл которого был бы понятен немногим избранным и абсолютно не доступен «толпе». Этим достигается:

1. Окончательное оформление и закрепление деления общества на элиту и «массу»²⁴.

2. Установление господства элиты. Ортега полагал, что сумел обойти «бестиальность» ницшевского проекта, преодолеть его «крайности» в таком щекотливом вопросе, как методы, которыми элита утвердит свою власть. Автор «Дегуманизации искусства» считал возможным утвердить власть элиты вполне благопристойным путем, на почве «комплекса неполноценности», который неминуемо должен появиться у «бравого бюргера» вследствие его полной неспособности понять новое искусство. Обратной стороной комплекса неполноценности должно стать благоговейное отношение к «избранным» и безоговорочное подчинение им²⁵.

3. Окончательный итог — спасение культуры.

Что касается нового искусства, то оно, по мнению Ортеги-и-Гассета, уже зародилось и развивается. Это искусство авангардистское, главное достоинство которого — зашифрованность, принципиальный отказ «иметь дело с человеческим содержанием произведения»²⁶.

...Перед ортегианским вариантом спасения культуры застываешь с чувством глубокого изумления и горечи. Изумление вызывает чудовищная утопичность его проекта, которая лежит на поверхности и вряд ли может рассчитывать на сколько-нибудь серьезный анализ за отсутствием предмета для такового. Фридрих Ницше был, по крайней мере,

²² Ortega y Gasset, J. *Gesammelte Werke*. Bd. III, s. 357.

²³ Подробный критический анализ «Дегуманизации искусства» содержится в названных выше работах Ю. Н. Давыдова и К. М. Долгова.

²⁴ Новое искусство, пишет Ортега, «действует как социальная азотная кислота...; из нерасчлененной толпы оно обособляет две касты». (Ortega y Gasset, J. *Gesammelte Werke*, Bd. II, s. 231).

²⁵ Ibid., s. 232.

²⁶ Ibid., s. 234.

реалистичнее и последовательнее. Сам факт появления такой утопии в голове незаурядного мыслителя да еще в первой четверти XX века может быть квалифицирован как плод безысходного отчаяния. Страшнее другое: испанский философ попытался порвать с гуманистической традицией культуры, лучшие представители которой видели смысл и оправдание своей деятельности в приобщении широких масс к вершинным завоеваниям человеческого духа. Являясь открывателями и первопроходцами, они покоряли новые вершины не для того, чтобы, застыв в ледяном презрении, взирать на «толпу» сверху вниз, но чтобы превратить собственные подчас извилистые тропы к ним в широкую и удобную дорогу, по которой пройдут миллионы. Короче, Хосе Ортега-и-Гассет рвет с гуманистической традицией тем, что предлагает заменить интеллигенцию аристократической интеллектуальной элитой со всеми вытекающими отсюда следствиями²⁷.

Однако подобный решительный разрыв легче декларировать, чем осуществить. Представим на мгновение невозможное: осуществленную утопию Ортеги. Углубленное художественно-философское исследование такой ситуации дал Герман Гессе в знаменитом романе «Игра в бисер» (убрав, правда, совсем уж «некрасивые» моменты: господство интеллектуальной элиты, ее презрение к «черни»). Самая незавидная участь в таком обществе ожидала бы прежде всего... аристократическую элиту. Наглухо замкнутая в высочайших сферах духа, она была бы обречена на бесконечную мучительную саморефлексию, бесплодное созерцание «игры стеклянных бус», ибо прихотливая воля автора Утопии лишила ее главного: возможности конкретного приложения своих сил, возможности служения людям. Дух, имеющий опору лишь в самом себе, утрачивает смысл существования и обречен на бесконечное самопожирание²⁸.

Герой романа Г. Гессе магистр Игры Йозеф Кнехт нашел в себе силы вернуться в живой мир людей. Сложнее обстояло дело с Хосе Ортегой-и-Гассетом, одним из наиболее ревностных адептов Игры стеклянных бус. Его духовную драму можно определить как постоянное колебание между крайним аристократическим индивидуализмом, с одной стороны, и неосознанным «томлением» и осознанной тоской по «планете людей» — с другой. Об этом свидетельствует сам факт появления «Восстания масс». Задумаемся над тем, почему автор, определивший ранее для себя позицию в заоблачных сферах «чистого духа», спустился вдруг на грешную землю? Злая, колючая, нередко содержащая несправедливо резкие, в корне неверные и неприемлемые для нас оценки и суждения, книга обладает одним бесспорным достоинством: она апеллирует, независимо от того, насколько отчетливо сознавал это сам автор, не к «элите» (для нее книга не содержала новых откровений), не к «массе» (она восприняла бы книгу как пасквиль и покушение на ее суверенитет), но к человеческому в человеке. Подтверждение сказанному мы находим в большой работе Ортеги-и-Гассета «В духе Галилея» (1933). Она начинается категорическим утверждением: «Жизнь есть одиночество, радикальное одиночество»²⁹. А чуть ниже философ признается, что им владеет тоска по такой форме «общности или общества, которая пытается быть любовью, представляет собой попыт-

²⁷ См. его статью: «Реформа интеллигенции» (Ortega y Gasset, J. *Gesammelte Werke*, Bd. III, s. 351—359).

²⁸ Именно на «чистом» функционировании элиты настаивал Ортега, заявляя, что «дух есть преимущественно бесполезная функция, великолепная роскошь организма, нечто весьма излишнее». (Ortega y Gasset, J. *Gesammelte Werke*, Bd. III, S. 353).

²⁹ Ibid., s. 458.

ку связать мое одиночество, подлинность моей жизни с одиночеством другого»³⁰.

Отпечаток этих колебаний отчетливо прослеживается во всем творчестве Ортеги-и-Гассета. Будучи единым по своей основной проблематике, оно претерпевало в разное время известные «деформации», приобретало различную нюансировку в зависимости от того, на какой конец амплитуды возносили Ортегу его духовные качели. Однако его философско-исторические работы имеют ту особенность, что, созданные в разное время и подчас существенно отличающиеся друг от друга по расставленным акцентом, они могут быть объединены по одному признаку. Хосе Ортега-и-Гассет обращается к истории всякий раз, когда предпринимает мучительные для себя попытки спуститься из ледяных сфер крайнего индивидуализма и элитаризма к «планете людей».

Смысл своего обращения к истории Ортега-и-Гассет определил следующим образом: «Чтобы понять что-нибудь человеческое — личное или коллективное — нужно рассказать его историю. Этот человек, эта нация делает вот это и является вот такой, потому что раньше она делала то-то и была такой-то. Лишь перед историческим разумом жизнь становится немного прозрачнее»³¹.

За этой формулировкой стоит многое. Прежде всего, она заключает в себе главную проблему творчества Ортеги-и-Гассета: необходимость уяснения причин кризиса современности. Истории, таким образом, можно задать вопрос и получить ответ, вследствие чего она наделяется функцией объяснительной. Попутно здесь же содержится скрытое признание Ортеги в том, что все предшествующие его попытки в разрешении проблемы кризиса были, по крайней мере, мало удовлетворительны. Наконец, апелляция испанского философа к истории и «историческому разуму» свидетельствует о принятии им древней, как мир, истины *historia magistra vitae est*, то есть история получает у Ортеги еще одну функцию — поучающую, или дидактическую³².

В соответствии с этими исходными положениями в работе «Философия истории Гегеля и историология» (1928) вырисовываются две основные линии. Первая — констатирующе-негативная — содержит критический анализ практические всех влиятельных направлений буржуазной историографии и увенчивается бескомпромиссным приговором о ее полной научной несостоятельности. Вторая линия может быть названа условно-позитивной, поскольку содержит лишь самые общие соображения о путях преобразования истории в подлинную науку — «историологию».

По глубокому убеждению Ортеги-и-Гассета, речь должна идти даже не о кризисном состоянии современной буржуазной историографии, но о том, что с самого начала возникновения так называемой исторической науки она никогда еще не была наукой. Век шел за веком, а историки, самонадеянно мня себя служителями науки, не дали себе труда задуматься над простым, до абсурдности простым, на первый взгляд, вопросом: что же такое, собственно, история? Что она исследует? Каков, короче, предмет истории? Если же это так, то претензии истории, не имеющей понятия о своем предмете, на научность нужно признать, мягко говоря, странными. Анализ новейших и авторитетнейших течений буржуазной историографии наглядно подтверждает, по мысли Ортеги, его еретически парадоксальный вывод.

³⁰ Ibid., s. 460.

³¹ Ortega y Gasset, J. *Gesammelte Werke*, Bd. IV, Stuttgart, 1956, s. 399.

³² «Историзм» Ортеги — один из главных пунктов его расхождения с философией его кумира Ф. Ницше.

«...В истории нет классиков, — пишет Ортега-и-Гассет. — Те, кто могут претендовать на этот титул, как, например, Фукидид, не являются классиками-историками по своей сути... Это проистекает из того, что история как наука еще не полностью развилась. Со времен XVIII столетия предпринимались многочисленные гениальные попытки для поднятия ее уровня, однако не историками, людьми узкой специальности, но такими мыслителями, как Вольтер, Монтескье или Тюрго; Винкельман, Гердер, Шеллинг, Гегель; Кант или Тэн, Маркс или Дильтей. Профессиональные историки ограничиваются почти исключительно тем, чтобы как-то окрасить свои труды волнением, которое сообщается им философами; но в своей субстанции и основе они остаются неизменными. Субстанцией и основой истории остается хроника»³³.

Смысл этой тирады Ортеги становится до конца понятным после его весьма краткой, но ядовито выразительной характеристики исторической школы Леопольда фон Ранке. Испанский философ справедливо указывает, что истовое служение голому факту в сочетании с тезисом о равноценности и равноправности всех эпох выбивает из-под ног исторической науки главное: возможность упорядочения безбрежного океана фактов, полное отсутствие в нем маяков-ориентиров, невозможность иметь представление о человечестве как едином целом и уж тем более понять современность, исходя из прошлого. Фактопоклонничество ранкеанцев, их индивидуализирующий метод, заключает Ортега, сложились как следствие того крестового похода против философии, который предпринял родоначальник школы. Отгородившись наглухо от философии, Ранке ревниво соблюдал «чистоту» и «суверенность» исторического знания под лозунгом: «История... есть следующее: критика и документ»³⁴.

«История не философия. Понятно, — соглашается Ортега-и-Гассет. — Но скажите вы нам, что же она есть»³⁵. Не стоит доверять внешне смиренному тону этой фразы, ибо за ним таится если не издевка, то глубочайшая ирония. Ведь Ортега прекрасно понимает, что ни один самый ярый сторонник «чистого» документа не избегает теоретизирования в той или иной форме хотя бы уже самим актом введения именно данного факта в научный оборот. Приведя замечательное по своей глубине высказывание великого Гете о том, что «каждый факт есть уже теория»³⁶, он продолжает: «Уже самые скромные и элементарные приемы исторической науки, например, критика источников, предполагают онтологию исторического, то есть систему основоположений об общей природе человеческой жизни»³⁷. Поэтому историки не должны уподобляться страусу в минуту опасности, но осознать беспочвенность и вред своего страха перед философией.

Итак, Ортега-и-Гассет требует соединения философии и истории, создания такого единственно необходимого и единственно плодотворного их синтеза, который только и способен вывести историю на уровень подлинной науки. Самая изощренная техника исторического исследования будет работать вхолостую до тех пор, пока история не обретет свой предмет. Им является «онтология исторического», «историческое бытие». Ортега прекрасно понимает, что «историческая наука должна использовать некоторое количество вспомогательных методов, прежде всего методы филологические». Однако «если история хочет

³³ Ortega y Gasset, J. *Gesammelte Werke*, Bd. III, s. 363.

³⁴ Ibid., s. 366.

³⁵ Ibid., s. 365.

³⁶ Ibid., s. 372.

³⁷ Ibid., s. 378.

заслужить титул истинной науки, она увидит себя поставленной перед необходимостью преодолеть механизирование своей исследовательской работы, отослав все технические и специальные исследования на свою периферию». Ибо «наука начинается там, где кончаются методы, или точнее: методы возникают тогда, когда наука их потребует и создаст»³⁸.

Если ранкеанское понимание истории сводится к хронологическому перечню событий и вследствие своей оторванности от философии не способно найти и проанализировать структуру «исторической реальности», то не следует полагать, будто к этой цели хоть на йоту приблизились неокантианцы и позитивисты. Неокантианская и позитивистская историографии вышли из лона соответствующих философских школ, но выясняется, что далеко не всякое философское направление может оплодотворить историю. Порочность неокантианства, как не трудно уже догадаться, заключена для Ортеги в самом исходном принципе разделения наук не по их предмету, а по их методу. Изучение специфики исторического познания без предварительного уяснения, что такое сама история, может быть оценено как весьма сомнительная интеллектуальная авантюра. Критика неокантианства, сильнейшее влияние которого испытал в молодости сам Ортега, ведется им даже в более резких выражениях, нежели критика Ранке и его школы³⁹. Последняя по крайней мере не делает тайны из своего неприязненного отношения к философии, в то время как Риккерт и его единомышленники создают вредную иллюзию того самого синтеза философии и истории, за который ратует Ортега-и-Гассет. Окончательный вывод, похожий на приговор гласит: неокантианская философия истории есть метафизика истории⁴⁰.

Что же касается позитивизма, то Ортега безусловно прав, указывая на неправомерность сближения в нем «исторической реальности» и «физической реальности». В позитивистской философии истории это приводит к подмене «исторической реальности» природной, а в историографической практике — к ложной уверенности о возможности познания истории методами, находящими применение в сфере естественнонаучного познания. «Физика располагает своими методами; история использует свои, но она не состоит только из этого. Большим заблуждением современной историографии является то, что она поддалась соблазну заразиться у всемогущей физики роковой переоценкой своей вспомогательной техники исследования — филологии, лингвистики, статистики и т. д. Метод есть любой интеллектуальный способ работы, который не определяется самим объектом. Метод устанавливает определенный способ поведения духа прежде, чем последний пришел в соприкосновение с предметом. Он, таким образом, заранее определяет отношение субъекта к явлениям и механизмирует его обращение с ними. Поэтому всякий метод, как только он делается самостоятельным и независимым, становится лишь догматической инструкцией, которая предполагает исследуемое уже как известное». История же для Ортеги не метод, тем более не его фетишизация, но «открытие подлинного», поэтому «она начинается там, где кончаются методы»⁴¹.

Не удовлетворяют Ортегу-и-Гассета ни гегелевская, ни марксова философия истории. Гегель устает от похвалы за стремление отыскать субстрат истории, но одновременно Ортега отмечает, что великий немецкий философ подменил историческую реальность логикой⁴².

³⁸ Ibid., s. 375.

³⁹ Ibid., s. 376, 380—381.

⁴⁰ Ibid., s. 380.

⁴¹ Ibid., s. 374—375.

⁴² Ibid., s. 380.

Выше уже отмечалось весьма поверхностное знакомство испанского мыслителя с марксизмом. По его мнению, «марксистское заблуждение состоит в утверждении..., что идеи являются не автономной силой в нашей жизни, но голым фантазмагорическим отражением нашего экономического состояния. Скажи мне, что ты кушаешь, и я скажу тебе, что ты думаешь»⁴³. Столь плоское понимание марксизма как целиком экономической доктрины для самого Ортеги (и не только для него одного) имеет весьма важное «преимущество». Оно позволяет, брезгливо скривив губы, с порога отбросить марксизм как учение, недостойное того, чтобы тратить время на его штудирование, и пребывать в счастливым неведением относительно оборотной стороны такого акта. Говоря словами самого Ортеги, он подходит к марксизму с вульгарной «догматической инструкцией, которая предполагает исследуемое уже как известное».

Не составляет труда отметить крайний негативизм критики Ортегой-и-Гассетом анализируемых им течений буржуазной исторической мысли. Однако очевидно, что Ортега игнорирует их рациональные моменты не вследствие собственной слепоты. Его задача — поиски «исторической реальности», выяснение ее глубинной структуры. В этом отношении он имел серьезные основания для суровой критики. Не оставив камня на камне от всей предшествовавшей исторической науки, автор «Восстания масс» переходит от деструктивной деятельности к изложению собственной позитивной программы.

С самого начала Ортега-и-Гассет, нацеливший науку на поиски «онтологии исторического», столкнулся с большими затруднениями. По его мнению, «историология не является методологическим исследованием *historia rerum gestarum* или историографией, но прямым анализом *res gesta*, исторической реальности. Она задает вопросы об онтологической структуре исторической реальности, о первоэлементах, из которых она построена, о ее объеме и ее границах»⁴⁴. Затруднения возникли прежде всего в вопросе о том, что следует понимать под «исторической реальностью». Без ясного представления о ней невозможно никакое движение дальше. А именно здесь Ортега-и-Гассет бессилён сказать что-либо определенное. «...Историческая реальность, — формулирует он, — есть такой род бытия, который обладает наиболее усовершенствованной и наиболее исключительной, наименее абстрактной и наименее определенной общей формой»⁴⁵.

Бряд ли сам ученый был удовлетворен столь расплывчатой дефиницией фундаментального понятия «историологии». Эта неудовлетворенность послужила в дальнейшем одной из причин некоторых коррективов в его философско-исторических построениях. Пока же Ортега вынужден удовлетвориться этим определением и заняться конкретизацией своей программы.

Суть предложений в следующем. Во-первых, синтез философии и истории должен отлиться в качественно иную форму: «историология» есть «метаистория». Во-вторых, основной задачей «метаистории» должно стать выявление неких констант исторической реальности и их философский анализ. Отталкиваясь от опыта развития естественных наук, Ортега приходит к заключению следующего рода. «Счастье физики, — пишет он, — было в том, что ее утверждению в современной форме... предшествовали долгие годы метафизического осмысления сущности материи. Когда Галилей размышлял о первых законах дви-

⁴³ Ortega y Gasset, J. *Gesammelte Werke*, Bd. IV, s. 202.

⁴⁴ Ortega y Gasset, J. *Gesammelte Werke*, Bd. III, s. 382.

⁴⁵ Ibid., s. 373.

жения, он уже знал, чем является материя по своей общей структуре. Греческие философы открыли онтологию материи. Физика ограничилась тем, что перешла от общего к конкретному и особенному... Поэтому мы понимаем Галилея, когда он формулирует законы падения. Но, к сожалению, не было метаистории, которая определила бы историческую реальность *in seipso* и проанализировала бы ее основополагающие категории. Общепринятая история говорит равно об особенном и единичном..., происхождения которых мы не знаем. Но конкретное понятно только после предшествующей абстракции и анализа. Физика является конкретизацией метафизики; но история не имеет еще метаистории, чьей конкретизацией она бы была. Поэтому мы никогда не знаем, о чем повествуют нам исторические труды; они написаны на языке, который состоит только из прилагательных и глаголов при рискованном отсутствии существительных»⁴⁶.

Ортега абсолютно прав в своем стремлении «прошить» историю какими-то общими руководящими идеями, которые не позволят ей расплзтись в бесформенную массу. Он прав и в другом. Руководящие идеи не должны являться на свет в «чистом» виде, из головы мыслителя и накладываться на реальный исторический процесс. Отвергая всякую спекулятивность, Ортега настаивает на том, чтобы «метаистория» оставалась на почве «исторической реальности». «...Историческая реальность, — замечает ученый, — складывается в каждый момент из некоторого количества изменяющихся и ядра неизменяющихся элементов, причем последние относительно или абсолютно константны. Эти константы исторической реальности образуют ее основополагающую, категориальную, априорную структуру, которая, поскольку она есть *arriori*, принципиально не зависит от изменений конкретного исторического содержания... Исследование этого априорного ядра, сущностно-исторического, является первой задачей историологии»⁴⁷.

Все эти верные в самом общем виде декларации вдребезги разлетаются, когда выясняется, что под априорным константным ядром скрываются не исторические законы, определяющие развитие исторической реальности, но человек, взятый в его антрополого-психологической сущности.

Типология, предлагаемая Ортегой-и-Гассетом, страдает такой же неопределенностью, как и его определение «исторической реальности». Выше упоминалось о склонности испанского философа к психологизации. «Масса», как мы видели, представляет собой некий обобщенный тип человека, наделенного целым набором психологических характеристик. В эпоху античности, по мнению Ортеги, доминировал тип «человека войны», определяющей чертой характера которого было стремление к войне. В то же время Ортега достаточно ясно понимает, что апелляция к одной лишь неизменной психологической природе человека не может быть надежной основой «историологии». Тем паче, что попытки интерпретации истории в таком аспекте предпринимались до него и положительного эффекта не дали. Поэтому, скажем, тот же «человек-масса» снабжается и некоторыми социальными характеристиками, являясь, в частности, и в образе буржуа, в характере которого преобладает «подозрительность». «Мы в значительной степени социологические, нежели психические субъекты», — замечает Ортега⁴⁸. Наконец, сюда же добавляются «этнологические» характеристики: «немецкая душа», «южная душа», «славянская душа» и т. д. Так, напри-

⁴⁶ Ibid., s. 380.

⁴⁷ Ibid., s. 376.

⁴⁸ Ibid., s. 384.

мер, немецкая душа отличается углубленностью в свое Я, необщительностью, интенсивным интеллектуализмом. Южная душа, напротив, распахнута во внешний мир, строит свое существование на контактах с ним, «социальна»⁴⁹.

Если Ортега в какой-то степени способен еще справиться с психологическими и этнологическими параметрами человека (в рамках собственной философии, разумеется), то с человеком социальным он явно не в ладах. В работе о философии Канта Ортега-и-Гассет попытался интерпретировать учение немецкого мыслителя, исходя из этих трех предложенных параметров. По Ортеге, философия Канта, во-первых, есть типичный плод немецкой души. Далее, она порождена характером буржуа и есть «продукт подозрительности». И последнее: «Кантовский критицизм является гигантской проекцией на почву философии буржуазной души, которая со времен Ренессанса исключительным образом управляла европейской историей. Этапы капитализма были одновременно стадиями развития критицизма». Однако Ортега во избежание недоразумений поспешно добавляет: «Отношение, которое я указываю между кантовским критицизмом и буржуазным капитализмом, не означает, что я присоединяюсь к учению исторического материализма». Ибо и критическая философия, и капитализм «возникли как параллельные творения человеческого типа, в котором подозрительность является господствующим настроением души»⁵⁰.

Итак, все возможные недоразумения сняты. Не капитализм порождает определенный тип мировоззрения, ни даже какое-то мировоззрение — капитализм. И то, и другое зачато параллельно в лоне определенной человеческой психологии. Причем, поскольку оба создания — близнецы, возможна всякого рода путаница, далеко не всегда только забавная. Можно, например, сделать выговор одному близнецу за проделки другого, что нередко и бывает у Хосе Ортеги-и-Гассета.

Таким образом, в константе, именуемой человеком, остается фактически один неизменный элемент — психология, которая в разные исторические эпохи выдвигает в качестве доминирующей ту или иную свою сторону. Конечно, позволительно было бы спросить, почему «человек войны» сменяется «подозрительным» буржуа? Однако ответ на этот вопрос мы у Ортеги не получим.

В итоге «априорное ядро» из смеси этнологических, социальных и психологических параметров человеческой личности рассыпается. «Константы» оказываются переменными величинами, аксиомы обращаются в теоремы, которые нуждаются в доказательствах, а из трех характеристик человека акцентируется только психологическая⁵¹. Поэтому по своему логичен и путь познания «исторической реальности», предлагаемый Ортегой-и-Гассетом. Историология «должна исходить из самой действительности (фактически — человеческой психологии. — В. Г.) и оставаться с ней в нерушимой связи посредством акта понимания»⁵².

Всё сказанное позволяет отнести философско-исторические представления Хосе Ортеги-и-Гассета середины 20-х—начала 30-х гг. к «философии жизни» в дильтеевском варианте.

Стремление испанского философа поставить историю на уровень подлинной науки вполне понятно. Ведь иначе история не в состоянии

⁴⁹ Ortega y Gasset, J. *Gesammelte Werke*, Bd. II, s. 423—424.

⁵⁰ *Ibid.*, s. 421—422.

⁵¹ Типология Ортеги-и-Гассета при внимательном рассмотрении поразительно напоминает типологию, предложенную в XIX в. швейцарским историком культуры Якобом Буркхардтом.

⁵² Ortega y Gasset, J. *Gesammelte Werke*, Bd. III, s. 374.

ни объяснить, ни научить, а потребность в том и другом ощущалась очень остро. (Заметим кстати, что, ратуя за «историологию», Ортега тем самым выделил еще одну ее функцию — научно-познавательную). Однако обращение к истории в значительной степени обесмысливается, если оно не подразумевает выхода в конкретную человеческую практику. Устранив категорию практики, мы оставим за историей лишь ее познавательную сторону, а заниматься ею смогут лишь любители Игры стеклянных бус, если такие, паче чаяния, отыщутся.

Именно категория практики становится камнем преткновения для Ортеги-и-Гассета. Дело в том, что она была достаточно скомпрометирована в глазах автора «Дегуманизации искусства». Много и настойчиво занимавшийся анализом проблемы отчуждения, Ортега пришел к выводу, что любая практическая деятельность враждебна человеку; ей он противопоставил деятельность чисто духовную, принципиально отвергающую любой выход из сферы интеллекта в сферу «опредмечивания». В плане общефилософском проблема деятельности была «решена» Ортегой-и-Гассетом радикальным противопоставлением личности и общества, элиты и «массы», которым предоставлялось заниматься соответственно «чистой деятельностью» и деятельностью практически-утилитарной.

Однако порожденное реальной, а не измышленной ситуацией, теоретическое осмысление проблемы ощущает постоянное «давление» с ее стороны. Реальная ситуация требовала дать ответ на вопрос «что делать?», то есть дать конкретные рекомендации для все той же ненавистной социальной практики. Грубо отождествивший утилитарный практицизм капитализма с человеческой практикой вообще (в которой наиболее полно реализуется человеческая сущность), Ортега-и-Гассет не в силах изъять ее полностью из своего рассмотрения. Отсюда его обращение к истории, отсюда его метания между крайним индивидуализмом и «коллективной», «социальной» жизнью. Смутный свет истины начинает брезжить перед испанским философом, когда он неожиданно заявляет: «Посредством этой новой реальности (социальной жизни — В. Г.), когда она однажды открылась, изменяется понимание, которое каждый отдельный индивид имел о самом себе. Ибо если вначале он полагал, что он представляет собой независимую психическую субстанцию, а общество есть лишь соединение таких же изолированных и удовлетворенных самими собой атомов, как он, то теперь он обнаруживает, что его личность получает жизнь... из той надындивидуальной реальности, которая есть общество. Внимательно присмотревшись, он не может решить, где в нем начинается его собственное и где кончается то, что является в нем социальной материей. Мысли, чувства, нормы, которые действуют в нас, являются большей частью пронизывающими нас социальными нитями»⁵³.

Учитывая аристократизм Ортеги, мы должны по достоинству оценить это его высказывание и ... не придавать ему особого значения. Оно — одно из немногих его прозрений, подтверждающих нашу мысль о тоске испанского философа по «планете людей». Дальнейшего развертывания оно не получает. Ортега предпочитает задать истории не вопрос «что делать?», а вопрос «как быть?». Разница между ними в том, что второй вопрос ставит не общество, но радикально одинокая личность, а полученный ответ реализуется не в сфере социальной практики, но в сфере «чистого действия», то есть в сугубо индивидуальном сознании каждого человека. Причем вследствие уникальности духовной

⁵³ Ibid., s. 384.

структуры каждой личности количество решений совпадает с количеством индивидов, задавших вопрос.

Приблизительно с середины 30-х гг. творческая деятельность Хосе Ортеги-и-Гассета идет под знаком дальнейшего углубления индивидуализма и пессимизма. Победа франкистов в Испании, гул кованных сапог гитлеровских орд по залитой кровью Европе были для Ортеги реальным воплощением томивших его предчувствий относительно вырвавшейся из-под контроля «массы». Кровавая вакханалия «толпы» являла собой ожившие страницы Апокалипсиса. Когда сбываются дурные ожидания, человеку, которого они обуревали много раньше, отнюдь не легче, чем застигнутому врасплох оптимисту. Особенно если этот человек, хоть и ожидавший худшего, встретил его готовым лишь к «чистому действию». Печально известная выставка «дегенеративного искусства», трагическая участь многих художников-авангардистов наглядно показали преимущество грубой силы «твердой руки» «человека-массы» над хрупким бездейственным интеллектом, не желающим «опредмечивать» плоды своей работы.

В полном согласии со своей духовной структурой Хосе Ортега-и-Гассет не принял фашизм. Это стоило ему длительной эмиграции (1936—1948). Но и вернувшись в Испанию, Ортега никогда не находил нужным скрывать свое полное неприятие франкистского режима. Однако мимо его теоретического сознания прошел удивительно незамеченным тот факт, что в своем решении он был совсем не уникален. События второй мировой войны, как известно, повернули большую часть западной интеллигенции лицом к народу. Ортега предпочел проповедывать мрачную резиньяцию и одиночество.

В сугубо академическом плане творчество позднего Ортеги характеризуется поворотом от «философии жизни» к феноменологии и экзистенциализму. П. П. Гайденко объясняет причину этого поворота невозможностью преодоления дуализма природного и человеческого (исторического) начал в рамках «философии жизни»⁵⁴. Объяснение верное, но не исчерпывающее. Оно выносит за скобки вопрос о том, почему именно на проблеме монизма и дуализма было акцентировано внимание Ортеги? Ведь «философия жизни» уязвима не только с этой стороны. Наконец, почему именно феноменология и экзистенциализм стали «искусителями» испанского мыслителя, а не какая-либо другая философская система? Ответ на эти вопросы следует искать в социальной действительности 30—40-х гг., которая с особой силой выявила недостатки философско-исторической концепции Ортеги-и-Гассета.

Напомним предшествовавший ход рассуждений Ортеги. Создание «историологии» возможно только на основе выявления, философского осмысления и категориального оформления структуры «исторической реальности». В качестве одной из «констант» этой структуры был выделен человек. Уязвимость ортегианской концепции дала себя знать прежде всего, во-первых, в отсутствии сколько-нибудь четкого представления о том, что есть «историческая реальность». Иными словами, испанский философ потребовал определить структуру неизвестно чего. Во-вторых, и здесь полностью права П. П. Гайденко, Ортега-и-Гассет не смог выяснить верного соотношения природного и социального в основной «константе» — человеке, сведя его к чисто психологическим характеристикам. Наконец, необходимо было окончательно урегулировать отношения с категорией практики, дать более «фундаментальное» обоснование необходимости «чистого действия».

⁵⁴ Гайденко П. П. Указ. соч., с. 101.

Пытаясь преодолеть эти затруднения, поздний Ортега вносит некоторые коррективы в свою философию истории. Смысл обращения к истории остается при этом прежним. Ортега-и-Гассет настоятельно требует от нее объяснения катастрофического состояния современности. В работе «История как система» (1941) он пишет: «В нашем современном кризисе, в нашем сомнении в разуме мы обнаруживаем содержание всей предшествовавшей жизни»⁵⁵. «...Человек, — по мнению Ортеги, — должен видеть в своем собственном сиюминутном Сегодня продолжающую действовать и жить концентрированную форму общего человеческого прошлого. Вчера нельзя объяснить без Позавчера и т. д.»⁵⁶. Однако теперь Ортега-и-Гассет выдвигает на первый план в качестве важнейшей и неотложной задачи проблему постижения того, что есть «историческая реальность», «бытие», «жизнь».

«Жизнь, — формулирует Ортега, — есть основополагающая действительность, которая включает и первая формирует все остальное... Факт, который предшествует всем остальным и из которого все остальные вытекают, есть человеческая жизнь, как она переживается каждым из нас»⁵⁷.

В первой части этой формулировки не заключено ничего такого, под чем не мог бы подписаться ранний Ортега. Экзистенциалистские мотивы начинают звучать в ее заключительной части. В ней указывается тот объект, посредством исследования которого может быть познано бытие. Им оказывается человек, «пилигрим бытия», «субстанциональный странник»⁵⁸.

Таким образом, для познания сущности жизни, бытия, исторической реальности необходимо обратиться к познанию феномена человека. Все предшествующие попытки в этом направлении, констатирует Ортега, были безуспешны. Основная ошибка таилась в том, что для этой цели привлекался «физический разум», то есть человеческая реальность отождествлялась с реальностью природной. «То, что доньше выдавалось за разум, — категорично заявляет испанский мыслитель, — было неисторично, а то, что выдавалось за историю, было нерационально»⁵⁹.

Слепая опьяняющая вера в «физический разум» имела, по Ортеге, самые серьезные последствия для человечества. Ибо когда обнаружилась его несостоятельность в познании человека, то тем самым выявилось его бессилие и в познании бытия. Тяжелое отрезвление, последовавшее за культивировавшейся веками верой во всепобеждающую силу «физического разума», обратилось в другую крайность, в нигилистическое отношение к разуму вообще, то есть в мировоззренческий кризис. Его преодоление является главной задачей современности.

«Для меня разум в истинном и строгом смысле слова есть любое интеллектуальное действие, которое приводит нас в соприкосновение с действительностью, посредством которого мы прикасаемся к трансцендентному. Все прочее есть только... интеллект: голая игра для домашнего употребления, которая вначале поддерживает человека, затем расшатывает и, наконец, ввергает в отчаяние, так что он начинает презирать самого себя»⁶⁰.

⁵⁵ Ortega y Gasset, J. *Gesammelte Werke*, Bd. IV, s. 398

⁵⁶ Ibid., s. 404.

⁵⁷ Ibid., s. 389.

⁵⁸ Ibid., s. 401.

⁵⁹ Ibid., s. 412.

⁶⁰ Ibid., s. 400.

Восстановить утраченное доверие к разуму вообще Ортега пытается введением нового его вида — «разума исторического».

Почему именно «исторического»? Потому что посредством специфически-исторического разума может быть познан человек, а через него и «историческая реальность», бытие. Ибо «человек не имеет природы, но то, что он имеет... история»⁶¹.

Ортега-и-Гассет уверен, что ему удалось «снять» все свои прежние кричащие противоречия. В самом деле, человеческая мысль ориентирована теперь действительно «онтологически», на познание сущности бытия. Найден объект, которому бытие раскрыто «изнутри», — человек. Определена сфера, посредством которой может быть изучен человек, — история. Наконец, определено орудие познания — «исторический разум», который «еще более разумен, нежели физика, строже и требовательнее, чем последняя»⁶². Однако поскольку единственное достояние человека — история, она тем самым превращается в самое бытие. Поэтому Ортега предлагает познать бытие через человека, а человека через... бытие. Больше всего пострадает при этом «исторический разум», который есть «ratio, Logos, строгое понятие», а поэтому он никогда не сможет разорвать тот круг, в который заключил его испанский философ.

На этом можно было бы поставить точку. Однако для полноты картины добавим еще два штриха.

Первый будет касаться категории практики. Изучение истории, по Ортеге, имеет чрезвычайно важное практическое значение, ибо помогает преодолеть отчуждение человеческой личности. «Человек, отчужденный от самого себя, вновь находит себя как реальность, как историю»⁶³. С другой стороны, Ортега, объявив человека «не природой», но «драмой», то есть существом чисто духовным, делает процесс разотчуждения иллюзорным, ибо предлагает человеку обрести самого себя не в реальной жизни, но при помощи «исторического разума», то есть в собственном сознании. Таков итог обретенного Ортегой «монизма» во взглядах на человека. Он и закладывается в фундамент его теоретического «обоснования» практики как деятельности сугубо духовной. Но поскольку, несмотря на весь «радикализм», Ортега не в силах полностью устранить социальную деятельность, он выходит из затруднения чисто экзистенциалистски, объявляя социальную жизнь «неподлинной».

Второе наше добавление касается вопроса, каким образом Ортега-и-Гассет все же предлагает исследовать историю. Подробно испанский философ эту проблему не обсуждает, но примечательно, что познание истории в его истолковании выступает как процедура проекции на нее индивидуальной человеческой жизни, то есть в конечном итоге индивидуального человеческого сознания⁶⁴. Отсюда неизбежна множественность миров или перспектив, которые открываются в истории, ибо сколько личностей, столько и проекций, сколько перспектив, столько и историй. Это тот далеко не новый субъективизм в познании истории, который, однако, с легкой руки отдельных буржуазных исследователей творчества Ортеги получил особое название — «перспективизм» — и в таком виде закрепился в науке.

И последнее. Мы убедились в настойчивом стремлении Ортега-и-Гассета сделать историю подлинной наукой, мыслить исторично. Тем не менее концепция его насквозь неисторична. Ибо прошлое для него

⁶¹ Ibid., s. 401.

⁶² Ibid., s. 412.

⁶³ Ibid., s. 411.

⁶⁴ Ibid., s. 405.

есть современность и только современность. «Прошлое не находится там, в своем времени, но здесь, во мне. Прошлое есть я, то есть: моя жизнь»⁶⁵.

В итоге обращение Ортеги-и-Гассета к экзистенциализму не углубило его исходную философско-историческую проблематику и тем более не дало позитивного ее решения. Однако влияние экзистенциализма сказалось не только на философском лексиконе испанского мыслителя, но и в углублении мотивов индивидуализма, «радикального одиночества», «неподлинности» социальной жизни и «подлинности» жизни «интерсубъективной» и проч. Эти мотивы присутствовали в творчестве Ортеги и раньше, но их углубление неизбежно ведет к экзистенциализму, подводящему под них «онтологическую» основу.

Творчество Хосе Ортеги-и-Гассета лишний раз подтверждает бессилие буржуазной историко-философской мысли, даже в лице наиболее выдающихся ее представителей, понять реальный ход и содержание исторического процесса. Позитивное решение проблемы следует искать на других путях. Наш вывод не нов и напоминает повторение всем известной аксиомы. Мы, однако, полагаем, что добавили новое доказательство к уже доказанной теореме. Анализ философии истории Хосе Ортеги-и-Гассета лишний раз и не без пользы дает возможность вспомнить уже доказанную истину.

⁶⁵ Ibid., s. 406.

Г. К. САДРЕТДИНОВ

АНРИ ПИРЕНН О ПЕРЕХОДЕ ОТ АНТИЧНОСТИ К СРЕДНИМ ВЕКАМ

(Статья первая)

Период 20—30-х годов нашего столетия ознаменовался для буржуазной медиевистики повышенным интересом к проблеме перехода от античности к средним векам и связанным с нею кругом вопросов. В ряду причин, обусловивших этот интерес, следует выделить прежде всего влияние социально-политической действительности того времени. Такие колоссальные социальные явления, как первая мировая война и особенно Октябрьская социалистическая революция, не могли не отразиться на целях и задачах буржуазной исторической науки. В центре внимания многих буржуазных мыслителей встал вопрос о судьбах европейской цивилизации, связанных, по их мнению, с судьбами привычного им миропорядка. В поисках ответов на мучительные вопросы современности буржуазные исследователи обращались к далекому прошлому. Их особое внимание привлекала проблема перехода от античности к средним векам, ибо этот период сплошь и рядом рассматривался в качестве отправного пункта становления европейской цивилизации. Неудивительно, что в период между первой и второй мировыми войнами тема перехода от античности к средним векам оказывается в центре внимания западно-европейской исторической мысли. Достаточно заметить, что она находит освещение в творчестве таких крупных буржуазных историков, как А. Допш, А. Пиренн, Л. Альфан, К. Даусон, Г. Обэн, Ф. Ло и др.¹

В это время завершается коренной пересмотр взглядов, сложившихся в либеральной историографии XIX в. по проблеме перехода от античности к средним векам. Буржуазная историческая наука в лице большинства ведущих исследователей окончательно порывает с господствовавшими ранее представлениями о катастрофическом характере смены античности средневековьем, о роли варварских завоеваний в процессе установления феодального строя в Западной Европе. Констатацию этого факта нетрудно найти у самих буржуазных исследователей. Так, современный американский историограф Брайс Лион отмечает, что благодаря исследованиям медиевистов 20—30-х годов «на сегодняшний день очень мало историков полагает, что германские вторжения IV и V веков имели катастрофические последствия для Западной Европы, разрушили классическую цивилизацию и положили начало годам готского варварства»².

¹ См. по этому поводу статью: Садретдинов Г. К. К вопросу о решении проблемы перехода от античности к средним векам в буржуазной историографии 20—30-х годов XX века.— В сб.: Методологические и историографические вопросы исторической науки, вып. 7—8, Томск, 1972.

² Lyon B. L'oeuvre de Henri Pirenne après vingt-cinq ans.— «Le Moyen Age», Bruxelles, 1960, t. 66, № 4, p. 474.

На смену традиционным либеральным представлениям приходят представления об отсутствии серьезных катаклизмов в историческом развитии, о сохранении основных элементов социально-экономической структуры античного общества и постепенной трансформации их в недрах раннесредневекового общества, о строгой преемственности между античностью и средневековьем. В середине 30-х годов английский медиевист Мосс, характеризуя состояние вопроса в современной ему западноевропейской исторической науке, писал, что «исчезновение римского мира не объясняется более катастрофой и связывается, в конечном счете, с более рациональной теорией эволюции»³. В победоносном распространении в буржуазной историографии того времени «более рациональной теории эволюции» по вопросу о переходе от античности к средним векам можно видеть попытку реконструкции исторического прошлого, не знающего серьезных социальных потрясений, резких переломных моментов, общественных переворотов. Именно в этом и проявилась с наибольшей силой социальная обусловленность подобного решения проблемы перехода. Налицо тесная зависимость между современностью и решением одного из кардинальных вопросов исторического знания, даваемого буржуазной наукой, в известной степени, как ответ на тревожащий ее вопрос о судьбах капиталистического строя.

Представители буржуазной историографии, отмечая бесспорный факт активизации интереса к проблеме перехода, в ряде случаев пытались объяснить причины этой активизации. При этом они вольно или невольно затушевывали подлинный политический смысл столь широкого обращения к явлениям переходного периода. Весьма примечательно в этом плане объяснение, данное французским историком романистического направления Латушем. Он не отрицает связи возрастания интереса к проблеме перехода от античности к средним векам в период 20-х годов с характером послевоенного времени. Однако Латуш объясняет обращение к этой проблеме не чем иным, как просто уверенностью исследователей в том, что их «собственный опыт настоящего» позволит им «расшифровать загадку решающего часа человечества». По мнению Латуша, западноевропейские историки полагали, что сама военная и послевоенная действительность с ее «экономической нестабильностью и политическими шквалами подготовила их к пониманию такой эпохи, как эпоха великих вторжений»⁴. Следовательно, обращение к столь важному сюжету диктовалось не попыткой осмысления настоящего, не насущной задачей разрешения важнейших теоретических вопросов, вставших перед буржуазной историографией ввиду радикальных изменений социально-политической действительности, а просто стремлением к разрешению этой сложной научной проблемы, поскольку исследователям, умудренным всем происшедшим, эта задача казалась по плечу. Налицо одностороннее, суженное объяснение характерной для того времени активизации исследований в области раннесредневековой истории. Латуш уходит от подлинного объяснения причин этой активизации, обедняет содержание столь важного вопроса, как вопрос об обусловленности современностью обращения буржуазной историографии к проблеме перехода. С целью доказательства своего тезиса он приводит пример Анри Пиренна, одного из самых крупных западноевропейских историков того времени, творца оригинальной концепции начала средневековья, которая и является объектом внимания данной статьи. По мнению

³ Moss L. B. *The birth of the Middle Ages*, Oxford, 1935; Moss L. B. *La naissance du Moyen Age*, Paris, 1961, p. 7.

⁴ Latouche R. *Les grandes invasions et la crise de l'Occident a V siècle*, Paris, 1946, p. 319.

Латуша, пиренновская концепция перехода от античности к средним векам оформлялась ее автором «в ходе долгих размышлений, вызванных его пребыванием в плену»⁵. Упрощение причин интереса Пиренна к проблеме перехода от античности к средним векам налицо и в объяснении, ранее выдвигавшемся Латушем. Так, он полагает, что «опыт войны, представившаяся в связи с депортацией возможность изучить русский язык и особенно наклонности характера привлекали его (Пиренна) ко все более широким панорамам»⁶. С таким огрублением роли социальной практики в обусловленности творчества видного бельгийского ученого Анри Пиренна нельзя согласиться.

Безусловно, творчество Пиренна не может рассматриваться в отрыве от современной ему действительности, но влияние этой действительности носило опосредованный характер, и оно ни в коей мере не может быть сведено к личному опыту исследователя. Для научной деятельности Пиренна характерно обращение к социально-актуальным проблемам исторического прошлого. Это находит свое подтверждение и при рассмотрении пиренновской концепции перехода от античности к средним векам. Сам Пиренн в объяснении интереса к проблеме перехода от античности к средним векам дает такую формулировку. «С чисто исторической точки зрения именно промежуточные периоды, периоды перехода заслуживают особого внимания, потому что в них лучшие рассматриваются социальные изменения, которые образуют самый объект истории»⁷. Вряд ли что можно возразить по поводу этого справедливого и глубокого методологического положения, находящегося, впрочем, в очевидном противоречии с предшествующим тезисом автора о крайней условности деления истории на периоды, которые, по его утверждению, не что иное, как «удобные этикетки, способы выражения, коим не следует приписывать какой-либо научной определенности»⁸. Но приведенное выше положение не является определяющим в ряду условий, вызвавших обращение Пиренна к проблеме перехода.

Согласно свидетельству его ученика Франсуа Гансхофа, Пиренн в течение длительного времени связывал крушение античного мира с германскими вторжениями V и VI веков. В годы, предшествующие первой мировой войне, «это объяснение стало казаться ему слишком простым»⁹. В лекционных курсах того времени он акцентирует внимание на «римском вкладе в общее формирование раннего средневековья»¹⁰. Однако это относится к педагогической деятельности Пиренна. Что же касается серьезного исследования им проблемы перехода, то это происходит не ранее начала 20-х годов. Правда, сын Анри Пиренна историк Жак Пиренн сообщает, что новая точка зрения была выдвинута его отцом еще в период пребывания в германском плену, когда он разрабатывал «для многочисленных русских студентов, разделявших его участь, лекционный курс «Экономическая история Европы». Жак Пиренн указывает, что, перерабатывая свой лекционный курс в книгу «История Европы», Анри Пиренн «в первый раз отметил тесную связь, которая существует между завоеваниями Ислама и формированием раннего средневековья».

⁵ Ibid.

⁶ Latouche R. Henri Pirenne historien de la Belgique. «Revue bimensuelle des cours et conférences», Paris, 1936, № 7, p. 584.

⁷ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne.— H. Pirenne. Histoire économique de l'Occident médiéval, Bruges, 1951, p. 65.

⁸ Ibid., p. 64.

⁹ Ganshof F. L. Henri Pirenne. Le Maître-L'Historien, Bruxelles, 1936, p. 23.

¹⁰ Ganshof F. L. Pirenne (Henri).— Biographie nationale, tome trentième, Supplément, t. 11, (fasc. 2), Bruxelles, 1959, col. 696. Cp.: Ganshof F. L. Henri Pirenne. Le Maître-L'Historien..., p. 24.

Но сам же Жак Пиренн отмечает, что эта работа была незакончена и не публиковалась при жизни автора¹¹. Словом, не будет преувеличением сказать, что по-настоящему тема перехода оказывается в центре внимания Анри Пиренна именно в 20-е годы. В это время, когда вопрос о смене античности средневековьем оказывается в центре внимания западноевропейской исторической мысли, Пиренн был одним из первых в ряду исследователей столь сложной темы. В числе причин, побудивших бельгийского исследователя всерьез обратиться к теме в течение долгого времени, по существу, не привлекавшей его внимания, следует выделить влияние современной ему социальной действительности, обусловившей общую актуализацию изучения проблемы перехода, актуализацию, которая не могла не сказаться на научных интересах историка такого масштаба, как Анри Пиренн. Среди исследователей этой важнейшей проблемы Пиренн занимает особое место. Он является создателем собственной оригинальной концепции перехода от античности к средним векам. Оформление и развитие этой концепции заслуживает самого пристального рассмотрения.

В 1922 году Пиренн опубликовал свою первую специальную работу, посвященную изучению проблемы перехода. Это была небольшая статья под названием «Магомет и Карл Великий»¹². В этом исследовании он в самых общих чертах выдвинул тезис о роли арабского завоевания в бассейне Средиземного моря. Давая оценку этой статье, Пиренн говорил, что в ней «изложена идея, представляющаяся неинтересной для историков... Я ограничиваюсь в ней наброском основных черт и особенно четким определением точки зрения, которую она (идея) представляет»¹³. На следующий год в том же издании выходит вторая статья Пиренна по вопросу о переходе от античности к средним векам¹⁴. Эта работа затрагивает экономические проблемы раннего средневековья, и в ней автор пытался доказать отличие хозяйственной системы каролингской эпохи от хозяйственной системы предшествующей, меровингской. По его мнению, это доказываемое им отличие является следствием арабских завоеваний. В том же году Анри Пиренн выносит развиваемый им тезис в качестве доклада на V Международный конгресс исторических наук и тем самым придает ему европейскую известность¹⁵. В этой связи следует отметить, что бельгийский историк выносит развиваемую им концепцию начал средневековья и на два последующих международных конгресса, шестой и седьмой¹⁶. Помимо выступлений на международных исторических конгрессах Пиренн развивает свои представления о переходе от античности к средним векам в многочисленных лекционных курсах и публичных лекциях, которые он читает как в Бельгии, так и далеко за ее пределами. В декабре 1921 г. он читает в Лилльском

¹¹ См.: Pirenne J. Preface.—H. Pirenne. Mahomet et Charlemagne, Paris-Bruxelles, 1937, p. V.

¹² Pirenne H. Mahomet et Charlemagne.—«Revue belge de Philologie et d'Histoire», t. I, Bruxelles, 1922; rééd. dans H. Pirenne. Histoire économique de l'Occident médiéval, Bruges, 1951, p. 62—70.

¹³ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne.—H. Pirenne. Histoire économique..., p. 62.

¹⁴ Pirenne H. Un contraste économique. Mérovingiens et Carolingiens—Revue belge de Philologie..., t. II, Bruxelles, 1923; См.: Pirenne H. Histoire économique de l'Occident médiéval, Bruges, 1951, p. 71—82.

¹⁵ См.: Pirenne H. Un contraste historique: Mérovingiens et Carolingiens. — «Compte-rendu du V Congrès international des sciences historiques», Bruxelles, 1923.

¹⁶ См.: Pirenne H. L'expansion de l'Islam et commencement du moyen âge — VI Congrès international des sciences historiques. Résumés des communications présentées au congrès. Oslo, 1928; Pirenne H. L'Islam et les origines du moyen âge. Compléments et précisions.—Congrès international des sciences historiques, 7, Varsovie, 1933, Section IV.

университете лекцию «Магомет и Карл Великий». В следующем году он читает лекционные курсы на ту же тему, а также на тему «Города средневековья» в Колумбийском, Принстонском, Гарвардском, Мэди-сонском, Вашингтонском и других университетах США¹⁷. В октябре 1924 г. бельгийский профессор читает в Кембриджском университете лекцию «Ислам и Западная Европа», а в 1926 г. ведет лекционные занятия в Парижской школе хартий по теме «Экономический контраст. Каролинги и Меровинги»¹⁸. В 1929 г. он выступил в университете города Монпелье с лекциями «Ислам и средневековье» и «Меровинги и Каролинги», в начале 1931 года он читает лекционный курс «Магомет и Карл Великий» в Алжирском университете, а в конце того же года повторяет этот курс в Брюссельском университете. В 1933 году он читает в Бельгийском историческом институте города Рима лекции: «Вторжение ислама в Средиземноморье и начала средневековья», «Средиземное море, германцы и ислам», на следующий год развивает свою концепцию в Каирском университете¹⁹. Все сказанное ярко свидетельствует о напряженной работе бельгийского историка над проблемой перехода от античности к средним векам. В то же время это не только напряженная научная работа, но и активнейшая пропаганда разрабатываемой концепции в самых широких кругах международной научно-исторической общественности. Тот факт, что Пиренну столь активно представляли трибуну, свидетельствует о большом интересе к его концепции.

Во второй половине 20-х — начале 30-х годов Пиренн предпринимает ряд частных исследований, которые преследовали цель уточнения и доказательства разрабатываемой им концепции²⁰. В этот же период он публикует несколько работ, тематически и хронологически выходящих за пределы проблемы перехода. Но тем не менее и на этих работах отчетливо сказывается влияние разрабатываемых в это время Пиренном представлений о переходе от античности к средним векам. Выше уже говорилось о том, что в монографии «Города средневековья», венчающей его многолетние исследования в области средневековой урбанистики, бельгийский историк связал собственную концепцию возникновения и развития средневекового города с выдвинутой им же концепцией смены античности средневековьем. Изложением своей концепции начал средневековья Пиренн открывает и работу, посвященную социально-экономической истории

¹⁷ См.: *Chronologie de Henri Pirenne*.— Henri Pirenne. *Hommages et souvenirs*, Bruxelles, 1938, t. 1, p. 138. Необходимо указать, что лекционный курс, посвященный проблеме средневекового города, который Пиренн читал параллельно с лекциями о переходе от античности к средним векам в различных американских университетах, лег в основу широко известной монографии «Города средневековья», которая обобщает его многолетние изыскания в области истории средневекового города. См.: Pirenne H. *Médiéval Cities. Their origins and the revival of trade*, Princeton, 1925; Pirenne H. *Les villes du moyen âge. Essai d'histoire économique et sociale*, Bruxelles, 1927; Работа переиздана, см.: Pirenne H. *Les villes et les institutions urbaines*, t. 1, Paris—Bruxelles, 1939, p. 303—431. См. русский перевод этой книги: Пиренн А. *Средневековые города и возрождение торговли*. Горький, 1941. В этой книге Пиренн связывает выдвинутую им ранее концепцию возникновения и развития средневекового города с разрабатываемой им в это время концепцией начал средневековья. Очевидно, это имело место и при чтении лекционного курса.

¹⁸ См.: *Chronologie de Henri Pirenne*..., p. 139—140.

¹⁹ *Ibid.*, p. 141—143.

²⁰ *Le fisc royale de Tournai; Le commerce du papyrus dans la Gaule mérovingienne; Un prétendu drapier milanais en 926; Le Cellarium fiscali. Une institution économique des temps mérovingiens; Le char à boeufs des derniers Mérovingiens. Note sur un passage d'Eginhard; Le trésor des rois mérovingiens; La fin du commerce des Syriens en Occident; De l'état de l'instruction des laïques à l'époque mérovingienne*.— Все эти статьи переизданы в уже упоминавшемся сборнике работ Пиренна. См.: Pirenne H. *Histoire économique de l'Occident médiéval*...

Европы в период XI—XV веков²¹. Это исследование, выполненное Пиренном в конце его научной деятельности, можно рассматривать как наиболее полное выражение его взглядов относительно социально-экономического развития средневековой Европы. Наконец, большая, наиболее общего характера работа Пиренна также начинается с воспроизведения основных положений тезиса о роли арабских завоеваний в процессе смены античности средневековьем²². В последние годы своей жизни бельгийский исследователь работает над обобщением собственных представлений о переходе от античности к средним векам. В это время Пиренн впервые создает большую обобщающую монографию, название которой повторяет название его первого исследования по проблеме перехода, «Магомет и Карл Великий». Эта книга выходит в свет уже после его смерти²³. Все это позволяет сказать, что разработка проблемы становления средневековья занимает целый период в жизни и творчестве Анри Пиренна. Выдвинутая им концепция перехода от античности к средним векам, наряду с разработанными им концепциями становления бельгийской нации и возникновения и развития средневекового города, прочно вошла в западноевропейскую историографическую практику.

Пиренн последовательно противопоставляет каролингскую эпоху меровингской. По его мнению, период V—VI веков характеризуется преемственностью римских порядков. В качестве основного фактора, определившего экономическую, политическую и культурную жизнь Римской империи, бельгийский историк выделяет Средиземное море, которое обеспечивало «ее географическое единство»²⁴, выступало «проводником идей, религий, товаров»²⁵ разных частей империи. Он выделяет то обстоятельство, что Рим объединил все народы Средиземноморья, в результате чего возникла «по существу средиземноморская империя». Море сближало провинции Римской империи, «объединяло их посредством быстрой и легкой навигации»²⁶. Этим-то Пиренн и объясняет «экономическое единство Римской империи». Он отмечает, что «империя не знала ни Азии, ни Африки, ни Европы. Если и имелось несколько цивилизаций, сущность была повсюду одна и та же. Одни и те же нравы, обычаи, религиозные верования на берегах, которые некогда знали столь различные цивилизации, как, например, египетская, пуническая и другие»²⁷.

В рамках Римской империи Пиренн подчеркивает первенствующее значение восточных провинций, более развитых в промышленном и торговом отношении. Рим, по его мнению, «был только политическим центром и гарантом сложившейся единой цивилизации»²⁸. Тут же он, впрочем,

²¹ Это исследование было опубликовано в качестве раздела «Всеобщей истории», вышедшей под редакцией Густава Глотца. См.: *La civilisation occidentale au moyen âge du XI au milieu du XV siècle. Le mouvement économique et social—Histoire du Moyen Age, t. VII, 2-e section de l'Histoire générale*, Paris, 1933; Работа переиздавалась. См.: *Pirenne H. Le mouvement économique et social au moyen âge du XI au milieu du XV siècle*; *Pirenne H. Histoire économique de l'Occident médiéval*, Bruges, 1951, p. 157—361; *Pirenne H. Histoire économique et sociale du Moyen Age*, Paris, 1963.

²² *Pirenne H. Histoire de l'Europe des invasions au XVI siècle*, Paris—Bruxelles, 1936. Книга переиздана. См.: *Pirenne H. Histoire de l'Europe (des invasions aux XVI siècle)*, Bruxelles, 1958.

²³ *Pirenne H. Mahomet et Charlemagne*, Paris—Bruxelles, 1937.

²⁴ *Pirenne H. Mahomet et Charlemagne*.—H. Pirenne. *Histoire économique...*, p. 62.

²⁵ *Pirenne H. Mahomet et Charlemagne...*, p. 1.

²⁶ *Pirenne H. Mahomet et Charlemagne*.—H. Pirenne. *Histoire économique...*, p. 63. Ср.: *Pirenne H. Les villes du moyen âge...*, p. 7.

²⁷ *Pirenne H. Mahomet et Charlemagne...*, p. 2.

²⁸ *Pirenne H. Mahomet et Charlemagne*.—H. Pirenne. *Histoire économique...*, p. 63.

отмечает, что «ось Римской империи была в Италии»²⁹. Экономическим центром империи, начиная с четвертого века, становится Константинополь. Пиренн обращает особое внимание на развитие торговли в позднеримской империи, выделяет Сирию в качестве отправного пункта основных торговых путей того времени, подчеркивает роль «сирийцев, или тех, кого так называли», и евреев в процессе обмена³⁰. Говоря об экономическом упадке империи, начавшемся «с конца III века», бельгийский историк заявляет, что «этот упадок по существу не задел средиземноморской навигации»³¹. Ее активность резко контрастировала с экономической атонией, постепенно охватывавшей континентальные провинции. Средиземноморская торговля по-прежнему связывала западные и восточные районы империи. Ввиду всех этих условий, по мнению Пиренна, в позднеримской империи происходила «прогрессирующая ориентализация общества, которая в конечном счете вела к его византизации»³². Пиренн уверяет, что в позднеримской империи роль Средиземного моря даже возросла ввиду натиска с севера германских племен. Впрочем, и сами германцы стремились на юг, к морскому побережью. «Они и не помышляли обосновываться в соседних им, северных провинциях»³³. С пятого века германским народам удастся достичь цели. Западная часть империи переходит в их руки, и «ее провинции трансформируются в германские королевства»³⁴.

Германские вторжения, по мысли Пиренна, не являются «отправным» пунктом новой эпохи в европейской истории». Цель вторжений заключалась не в разрушении империи. Завоеватели «обосновывались в ней, чтобы пользоваться» ее учреждениями. Неудивительно, что «то, что они сохранили, намного превышает как разрушенное, так и принесенное ими новое»³⁵. Пиренн акцентирует внимание на мирном проникновении германцев, говоря при этом, что они германизировали окраины империи «по крови», но зато полностью «романизовались» сами. Говоря о причинах успеха германских вторжений, бельгийский историк приводит ряд производных обстоятельств, которые, конечно, облегчали завоевание. В то же время он, по существу, и не ставит вопроса о глубоком экономическом кризисе империи, ограничиваясь замечанием, что для успешной защиты у населения империи не хватало «моральной стойкости», которая отсутствовала, впрочем, и у «атакующей стороны». «Ничто не вдохновляло германцев против империи: ни религиозные мотивы, ни расовая ненависть, ни еще менее политические соображения. Вместо того, чтобы ненавидеть ее, они ею восхищались. Все то, что они хотели, это утвердиться в ней и пользоваться ею»³⁶. Анри Пиренн настаивает на том, что вторжения германцев не повлекли за собой ни политической, ни экономической трансформации позднеримского общества. Правда, в отличие от Фюстель де Куланжа и А. Допша, он признает определенную разницу в социально-экономическом устройстве позднеримского и раннегерманского обществ, но в то же время настаивает на быстрой романизации пришельцев, которые, ввиду этого обстоятельства, а также ввиду своей малочисленности, не смогли изменить характера экономики позднеримской империи. По его мнению, «если где и были изменения режима, если где и укоренились общинные права землепользования, неизвестные рим-

²⁹ Ibid., p. 62.

³⁰ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 2—3.

³¹ Pirenne H. Les villes du moyen âge..., p. 7.

³² Ibid., p. 8—9.

³³ Ibid., p. 9.

³⁴ Ibid., p. 10.

³⁵ Ibid., p. 11.

³⁶ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 5.

лянам, то это только в полностью колонизованных областях севера империи»³⁷. К тому же он предупреждает против «серьезной ошибки представить германцев», поселившихся на территории империи в пятом веке, наделенными «чертами их соотечественников времен Тацита»³⁸.

Не возражая против этого положения, необходимо указать, что общественное развитие варваров до их прихода на территорию Западной Римской империи шло непосредственно путем разложения первобытно-общинного строя, путем зарождения в нем предпосылок феодализма. К моменту расселения в римских провинциях у варваров существовали элементы неравенства, в их обществе имелись уже прямые предпосылки классовобразования, к числу которых следует отнести определенную имущественную дифференциацию среди свободных, наличие таких социальных слоев, как рабы, литы, вольноотпущенники, растущее усиление королевской власти и т. д. Сказанное, однако, не отвергает того обстоятельства, что господствующей формой производственных отношений продолжала оставаться земельная община, а основными непосредственными производителями материальных благ — свободные общинники. Вопреки Пиренну, общинное землевладение было принесено варварами всюду, где бы они ни расселялись, в результате чего происходило увеличение слоя мелких земельных собственников. Правда, это землевладение распространялось с разной степенью интенсивности, что зависело как от удельного веса пришлого варварского населения среди коренного, римского, так и от степени общественного развития того или иного германского народа. Общинно-родовой строй варваров, в целом находившийся в рассматриваемый период в стадии его разложения, у каждого конкретно взятого народа выступал на определенной ступени своего распада, что не могло не сказаться, по крайней мере, на продолжительности существования общинных распорядков у того или иного народа в условиях взаимодействия с качественно иными социальными условиями. Что же касается римского влияния, то оно осуществлялось не путем механического заимствования и усвоения варварами социальных и политических норм позднеримского общества, что с очевидностью предполагает развиваемый Пиренном тезис о романизации германцев, а путем органического синтеза элементов разлагающейся рабовладельческой формации с разлагающимся первобытно-общинным строем варваров, явления, имевшего место как в сфере производства, так и в области политических и идеологических отношений. При этом синтез не мог не явиться мощным катализатором процесса феодализации. Известно, что в тех странах, где генезис феодализма проходил вне влияния традиций позднеримского социального устройства, этот процесс протекал замедленно³⁹.

³⁷ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 58.

³⁸ Pirenne H. Histoire de l'Europe (des invasions au XVI siècle), t. 1, Bruxelles, 1958, p. 3. См. также утверждение Пиренна о том, что «крупные земельные владения существовали в Галлии до завоевания Цезаря, как они существовали и в Германии еще до периода вторжений». Pirenne H. Le mouvement économique et social au moyen âge du XI au milieu du XV siècle.— H. Pirenne. Histoire économique de l'Occident médiéval..., p. 163.

³⁹ В связи с этим необходимо отметить, что, не говоря уже о широко известных достижениях советской медиэвистики, наиболее четко поставившей вопрос о синтезе и в целом решившей его, ряд современных западных исследователей в той или иной мере разделяют идею синтеза. Так, сравнительно недавно французский историк Л. Мюссе признавал: «Повсюду наблюдается компромисс, более или менее законченный синтез различных элементов и возникновение новой цивилизации, отличной одновременно как от позднеантичной, так и от собственно германской». Тут же он уточняет, что это «явление» с «наибольшей четкостью» проявляется в мерovingской Галлии и вестготской Испании. См.: Musset L. Les invasions: les vagues germaniques, Paris, 1965, p. 191.

В качестве характерного примера массового водворения германцев на землях империи и их правового положения в этом случае Пиренн приводит переселение готов. По его мнению, с обоснованием в юго-западной Галлии вестготов впервые встала проблема пребывания под римским суверенитетом народа, «сохранявшего свои собственные учреждения...»⁴⁰. Он полагает, что вестготский король «был королем лишь своего народа, гех *Gotorum*», местным галло-римским населением он правил в качестве должностного лица имперской администрации, «наемного генерала на службе империи»⁴¹. Рассматривая дальнейшие вторжения германцев, он особо выделяет завоевания вандалами Северной Африки. Бельгийский историк полагает, что с утратой Северной Африки, а затем Балеарских островов, Сардинии и Корсики, также захваченных вандалами, империя утратила Средиземное море, а вместе с ним и возможность сопротивления. Свержение Ромула Августула отдало Прованс в руки вестготов, после чего «было потеряно все западное Средиземноморье»⁴².

В этих условиях варвары могли бы разрушить империю, «но они не хотели этого». Далее Пиренн перечисляет германские королевства, на которые распалась западноримская империя, и замечает, что «на первый взгляд катастрофа кажется огромной». Но он тут же оговаривается и находит, что «при ближайшем рассмотрении она (катастрофа) представляется менее значимой». «Юридически император не исчез. Из его суверенитета ничего не выпало» (разрядка моя. — Г. С.). Сохранилась и прежняя функция федератов. И сами пришельцы признавали главенство этого суверенитета»⁴³. По его мнению, «империя, территория которой была расчленена» на ряд королевств, тем не менее «не уступила ни пяди своей земли захватчикам». «Юридически они (германцы) были лишь захватчиками» (разрядка моя. — Г. С.), и королевский титул их повелителей «касался лишь приведенных ими народов». Пиренн доказывает свой тезис не чем иным, как тем обстоятельством, что короли возникавших варварских государств, имея в составе подвластного им населения как германцев, так и римлян, «не называли себя королями Галлии или Италии, а только королями франков, остготов и т. д.»⁴⁴. В этом случае очевидна попытка отрицания последствий германских вторжений. Произвольно истолковывая факт сохранения письменных королевских титулов, Пиренн искажает как объем, так и характер раннефеодальной государственной власти, возникшей в завоеванных римских провинциях, отстаивает сохранение общественных порядков, присущих позднеримской империи.

Бельгийский исследователь находит, что римские потери были незначительны. Они состояли из Британии и пограничной полосы на севере империи. Словом, он считает утраченными для империи только те провинции, где произошла, по существу, этническая смена населения. В качестве примера, подтверждающего его тезис, Пиренн приводит современное ему соотношение романской и германской языковых групп, что якобы свидетельствует о быстрой романизации вторгавшихся германцев, под которой автор подразумевает адаптацию завоевателей⁴⁵. Можно даже сказать, что под романизацией он подразумевает не только этниче-

⁴⁰ Pirenne H. Histoire de l'Europe..., p. 4.

⁴¹ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 11.

⁴² Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 14.

⁴³ Ibid., p. 15. Ср.: Fustel de Coulanges. Histoire des institutions politiques de l'ancienne France. Paris, 1891, t. II, pp. 519—520.

⁴⁴ Pirenne H. Histoire de l'Europe..., p. 7, Ср.: Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 28.

⁴⁵ Ср.: Fustel de Coulanges. Op. cit., t. II, pp. 552—553.

скую абсорбцию германских завоевателей побежденными римлянами, хотя он и говорит об этом, но прежде всего торжество римских общественных отношений. В плане развития этих представлений Пиренн замечает, что нельзя говорить о германизации римского мира. «Он варваризировался, но это не одно и то же явление. За исключением англосаксов Британии германские народы не внесли своих политических учреждений в империю»⁴⁶.

Пиренн признает определенное изменение римского мира, но относит его на счет внутреннего, органического упадка империи. Сводя роль германцев к усугублению этого процесса, он отрицает, что их вторжения внесли что-нибудь качественно новое. Отстаивая преемственность римских порядков в период V—VII веков, он выдвигает следующий весьма характерный тезис. «Цивилизация, если так можно выразиться, деградировала, но эта деградация не мешала ей еще отчетливо сохранять римскую физиономию»⁴⁷.

Прибегая к свойственному ему приему сравнения качественно разнородных явлений, Пиренн выдвигает любопытное положение, которым пытается усилить аргументацию тезиса о преемственности римских порядков после водворения германских народов. «Римская империя осталась римской, как Соединенные Штаты Америки, вопреки иммиграции, остались англосаксонскими»⁴⁸.

В ряду доказательств Пиренна фигурирует и относительно небольшая численность пришельцев. Не вдаваясь в спор об их числе и скорости, с которой они смешивались с местным населением, следует заметить, что сами по себе эти факты не доказывают незыблемости римского общественного строя. Понимая это, Пиренн обращается к рассмотрению вопроса о правовом устройстве германских народов. Указывая на то, что после вторжения германцев установился порядок так называемого личного права, «римского для римлян, германского для германцев», бельгийский историк акцентирует свое внимание на неоспоримом факте исключительно сильного влияния римского права на кодификацию законодательных сводов вестготов, остготов, вандалов и бургундов. Это явление он также подает как свидетельство непрерывности римских порядков. Признавая, что франки не испытали сильного римского влияния, Пиренн пытается принизить роль основного франкского законодательного свода — Салической правды, ибо данные этого источника несовместимы с развиваемыми им представлениями. Исходя из системы личного права, он заявляет, что Салическая правда не могла быть «правом всей Галлии». По мнению Пиренна, «вне Бельгии салиев почти не было, кроме знати в окружении короля». Поэтому автор полагает, что «область ее (Салической правды) применения следует ограничить крайним севером Галлии». На основании всего этого Пиренн находит, что данные этого источника об аграрных обычаях и характере поселений «относятся лишь к северу, колонизованному германцами»⁴⁹. Что же касается территории остальной Галлии, то здесь сохранились позднеимские порядки.

Хорошо известно, что на юге Франкского королевства сохранилось крупное землевладение с определенными чертами рабовладельческого уклада⁵⁰. Но на этом основании нельзя отстаивать преемственность рим-

⁴⁶ Pirenne H. Histoire de l'Europe..., p. 8.

⁴⁷ Pirenne H. Un contraste économique. Merovingies et Carolingiens.— H. Pirenne. Histoire économique de l'Occident médiéval..., p. 73. Ср.: Pirenne H. Les du moyen âge..., p. 11.

⁴⁸ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 18.

⁴⁹ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 24.

⁵⁰ См., например: Корсунский А. Р. Образование раннефеодального государства в Западной Европе. М., 1963.

ского общественного строя, поскольку в рассматриваемое время шел активный процесс разложения рабовладельческих отношений. Этот процесс, помимо внутренней логики развития, неумолимо ведшей к ликвидации рабовладельческого строя, стимулировался взаимодействием социальной структуры южных областей с социальной структурой северных областей Франкского государства. Факт ликвидации римского наследия в районе активной франкской колонизации признает и Пиренн. Однако он пытается ограничить область применения франкского обычного права «крайним севером Галлии», а затем на основании выдвинутого им тезиса доказывает преемственность римских порядков в основных областях Франкского королевства. Спорной представляется уже столь ограниченная локализация применения Салической правды. Но если даже принять это положение Пиренна, то оно отнюдь не исключает процесса ломки римского экономического и социального наследия, происходившего на территории всей Галлии, хотя и с разной степенью интенсивности.

Пиренн не ограничивается общей постановкой вопроса о судьбах Римской империи применительно к его концепции перехода от античности к средним векам. В ходе аргументации своих построений он прибегает к анализу политического строя государственных образований, возникших на территории бывшей Западной Римской империи. При этом он вновь настаивает на том, что короли варварских королевств в качестве таковых правили лишь «своими народами». Что же касается римлян, то для них они были «римскими генералами, которым император передал управление над гражданским населением»⁵¹. Таким образом, Пиренн рассматривает германцев в качестве федератов Римской империи, а германских королей — в качестве ее должностных лиц. Руководствуясь этой общей посылкой, бельгийский историк рассматривает политическую структуру и государственное устройство Остготского королевства. На основании того факта, что в Остготском королевстве римское право и государственность действительно играли очень важную роль, Пиренн пытается доказать сохранение римского общественного строя, игнорирует наличие качественно новых черт государственного развития⁵². Он напоминает, что Теодорих публиковал лишь эдикты, а не законы. Развивая эту мысль, автор утверждает, что «юридическая организация гóтов была полностью римской; целиком римским является и Эдикт Теодориха»⁵³. Аналогичные представления о характере остготского законодательства широко распространены в работах историков романистического направления»⁵⁴.

Аргументированное возражение подобному тезису можно найти в статье И. А. Дворецкой. Дворецкая отмечает, что «еще в эпоху Римской империи грань между законами в строгом смысле и императорскими эдиктами постепенно стиралась. Фактически эдикты остготских королей

⁵¹ Mahomet et Charlemagne..., p. 28.

⁵² Вопрос о формировании феодальных отношений в остготской Италии и политическом строе Остготского королевства достаточно хорошо изучен в советской исторической литературе. См.: Удальцова З. В. Италия и Византия в VI в. М. 1959; Дворецкая И. А. Раздел земель в Остготском государстве в Италии в VI в. и рост дифференциации среди остготов. — «Ученые записки МГПИ им. В. И. Ленина», т. CIV, вып. 5, М., 1957; она же. К вопросу о положении зависимого крестьянства в Остготском королевстве. — «Научные доклады высшей школы. Исторические науки», № 1, М., 1959; она же. Организация управления в Остготском королевстве. — «Византийский временник», М., 1962, т. XXI; Корсунский А. Р. Указ. соч.

⁵³ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 29.

⁵⁴ См., например: Lot F. La fin du monde antique et le début du moyen âge. Paris, 1951, p. 281; Moss L. B. Op. cit., p. 94. Подробный анализ буржуазной историографии остготского законодательства дан в монографии З. В. Удальцовой. Указ. соч., с. 160—166.

имели силу закона и действовали без ограничения во времени»⁵⁵. К этому следует добавить, что, по-видимому, Теодорих и его преемники называли свои постановления эдиктами, а не законами с целью найти правовое обоснование своей власти. Поэтому они хотели доказать, что их законодательная деятельность основана на римском праве, согласно которому издание законов принадлежит императору. Это, естественно, было только юридической фикцией и не мешало эдиктам остготских королей иметь силу закона.

Далее Пиренн уверяет, что в Остготском королевстве все гражданские должностные лица были римлянами, в значительной мере сохранялась римская администрация, существовал сенат, сохранялись римское провинциальное деление, муниципальные учреждения, налоговая организация. Он пишет и о том, что Теодорих чеканил монету от имени императора, организовал по византийскому образцу королевскую стражу и церемониал двора. На основании всего этого Пиренн выдвигает весьма характерный тезис: «В этом королевстве, где властвовал их король, они (готы. — Г. С.) в действительности были инородным телом, хорошо оплачиваемыми чужаками, военной кастой, живущей своей службой, и Теодорих был не более как должностное лицо Зенона»⁵⁶. Отсюда неудивителен и конечный вывод Пиренна относительно характера остготской государственности. «В итоге готы являлись военной базой королевской власти, которая за исключением этого была целиком римской»⁵⁷.

Представления Пиренна относительно общественного устройства Остготского государства ничем не отличаются от представлений историков романистического направления. В ряде случаев они даже более категоричны. Вызывает сомнения аргументация, к которой прибегает Пиренн с целью доказательства выдвинутого им тезиса. Сам факт использования остготами ряда учреждений государственного аппарата поздней Римской империи не дает оснований для утверждений о незыблемости римских порядков. Необходимо отметить, что в условиях неразвитости государственного строя, присущего остготскому обществу V века, вполне естественно стремление правящей верхушки в той или иной мере сохранить и использовать некоторые элементы римского государственного аппарата. Это обстоятельство ускоряло процесс складывания политического строя Остготского королевства в Италии. Однако очевидно, что во многих случаях сохранялась не более как видимость римского управления. К тому же неоспоримо, что в административном устройстве остготской Италии большое место занимали элементы чисто германского происхождения. Так, во все провинции Остготского государства король назначал графов, обладавших чрезвычайно широкими полномочиями как в области военных дел, так и в делах гражданского управления. Графу же предоставлялась и судебная власть. Власть графа распространялась на всех жителей той или иной провинции, независимо от того, были ли они римлянами или готами⁵⁸.

Еще более важным политическим учреждением остготской Италии были так называемые сайоны, должностные лица, выполнявшие специальные поручения короля. Пиренн видит в них не что иное, как «имитацию римских *agentes in rebus*»⁵⁹. Между тем эта должность была неиз-

⁵⁵ Дворецкая И. А. Организация управления..., прим. 23.

⁵⁶ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 29.

⁵⁷ Ibid., p. 30. См. также: Pirenne H. Histoire de l'Europe..., p. 9; Dopsch A. Wirtschaftliche und soziale Grundlagen..., S. 200.

⁵⁸ Более подробно о полномочиях готских графов, комитов см.: Дворецкая И. А. Организация управления..., с. 20—22.

⁵⁹ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 30.

вестна римской бюрократической системе и относится к числу новых институтов, введенных в Италию правительством Теодориха. В обширной компетенции сайонов наиболее важной функцией была функция контроля за военной и гражданской администрацией Остготского королевства⁶⁰. Представляется неубедительной ссылка Пиренна и на то, что Теодорих чеканил монету от имени императора. Действительно, им выпускались монеты с изображением императора, но известны монеты и с изображением остготских королей. Характер надписей на них свидетельствует об их независимости по отношению к императору Восточной Римской империи⁶¹.

Подводя итоги сказанному, нужно отметить, что Пиренн рассматривает государственное устройство остготской Италии в отрыве от социально-экономических отношений, сводит дело к сохранению римских порядков в политическом строе остготского общества. Аргументация его тезисов в данном случае идентична построениям историков романистического направления. Признавая значительную степень романизации Остготского королевства, нельзя, однако, согласиться ни с утверждением о неизбежности римских порядков в Италии V—VI вв., ни с тем, что это государство было копией римского. В формировании Остготского королевства решающее значение имел синтез общественных устройств остготов и римлян, что и нашло свое отражение в праве и государственных нормах остготской Италии, принадлежащей по своему характеру к раннефеодальным государствам⁶².

Переходя к рассмотрению других варварских государств, Пиренн признает, что здесь романизация была не столь полной, как у остготов. Однако это положение не получает дальнейшего развития в творчестве Пиренна. Так, рассматривая Вandalское королевство, он находит, что германские учреждения были устранены Гейзерихом в ходе подавления восстания знати, которая «пыталась использовать остатки племенной организации». После этого, как полагает Пиренн, «образ правления Гейзериха стал римским». По его мнению, вandalское завоевание «не задело ни экономической жизни, ни условий повседневного существования»⁶³. Бельгийский исследователь видит в Гейзерихе «романизированного короля, абсолютизм которого проявляется в кровавых репрессиях над стремившейся к независимости германской аристократией и в применении римских институтов...»⁶⁴. В ходе развития своего тезиса он утверждает, что вандалы подверглись успешной романизации и вскоре у них осталось «еще менее следов германизма, чем у остготов»⁶⁵. Словом, по мнению Пиренна, и в Северной Африке после утверждения вандалов полностью сохранялись римские порядки.

Безусловно, позднеримские учреждения играли очень большую роль в государственном устройстве Вandalского королевства, но отождествлять на этом основании политический строй этого государства с политическим строем Римской империи никоим образом нельзя⁶⁶.

⁶⁰ О характере власти сайонов см.: Дворецкая И. А. Организация управления..., с. 15—17; Удальцова З. В. Указ. соч., с. 156—159.

⁶¹ Дворецкая И. А. Организация управления..., прим. 24.

⁶² См.: Корсунский А. Р. Указ. соч., с. 95—102; Удальцова З. В. Указ. соч., с. 136—196; Дворецкая И. А. Организация управления..., с. 26—28.

⁶³ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 30.

⁶⁴ Pirenne H. Histoire de l'Europe..., p. 9.

⁶⁵ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 31.

⁶⁶ Об условиях возникновения Вandalского раннефеодального государства и характере его административного устройства см.: Корсунский А. Р. Указ. соч., с. 48—50, 104—108. О социально-экономических последствиях вandalского завоевания см.: Дилигенский Г. Г. Северная Африка в IV—V веках. М., 1961, с. 249—290.

В ходе рассмотрения вестготского общества Пиренн указывает, что Галлия и Испания, где поселились вестготы, «не были романизованы до такой степени, как Италия и Африка». «И однако германские нравы завоевателей также отступили здесь перед римскими нравами и учреждениями». Вслед за Л. Шмидтом бельгийский ученый считает, что в аграрной организации вестготов «ничего германского не осталось»⁶⁷.

С подобного рода утверждением нельзя согласиться. Действительно, в Вестготском королевстве сохранилось римское крупное и среднее землевладение, но в ходе раздела земель между местным населением и вестготами значительная часть земельного фонда перешла в руки пришельцев⁶⁸. Как следствие водворения вестготов увеличилось число мелких земельных собственников, укрепились общинные узы. В результате возникновения смешанных поселений общинные порядки могли распространяться и на местное население. К тому же возможно, что в ряде местностей общинные порядки в той или иной мере могли сохраняться у коренного населения в качестве реликта доримских экономических условий. В результате расселения вестготов и ломки позднеимперского экономического наследия эти порядки могли приобрести самодовлеющее значение. Бесспорно одно: вторжение вестготов сопровождалось повсеместным распространением общинного землепользования. «Нет никакого сомнения, что поселение вестготов (как бургундов) укрепило, а в целом ряде случаев создало в Галлии вновь деревенскую общину с нераздельным использованием некоторыми угодьями»⁶⁹.

Пиренн рассматривает государственную систему вестготов как прямое продолжение позднеимперской. Он обстоятельно перечисляет все элементы позднеимперской государственности, которые действительно сохранялись в административном аппарате Вестготского королевства. Он даже находит, что в Вестготском государстве «королевская власть эволюционировала по образцу византийской системы»⁷⁰. Вопреки Пиренну, Вестготское королевство нельзя рассматривать как просто продолжение Римской империи. Сохранившиеся элементы римской государственности и права ускорили складывание государства у вестготов, но это было государство качественно иного типа по сравнению с римским⁷¹.

Примерно так же Пиренн характеризует общество бургундов. Он утверждает, что бургунды «рассматривали себя как часть Империи». Они даже датировали годы по консулам, то есть по императорам, их король выступал в качестве *magister militum* от имени императора⁷². Говоря о королевской власти у бургундов, автор настаивает на том, что по характеру она была позднеимперской. Как и в предыдущих случаях. По мнению Пиренна, это сказывается в том, что у бургундов «королевская власть носила абсолютистский характер», что было, якобы, унаследовано от

⁶⁷ См.: Pirenne H. *Mahomet et Charlemagne...*, p. 31—32.

⁶⁸ Подробно вопрос об условиях земельного раздела у вестготов рассмотрен в работах: Грацианский Н. П. О разделах земель у бургундов и вестготов. — Н. П. Грацианский. Из социально-экономической истории западноевропейского средневековья. М., 1960, с. 318—326; См. также: Корсунский А. Р. Указ. соч., с. 36—37; Он же: Готская Испания. М., 1969, с. 38.

⁶⁹ Грацианский Н. П. Указ. соч., с. 326; О деревенской общине у вестготов см.: Арский И. В. Сельская община в готской Испании. — «Ученые записки ЛГУ», № 39, серия истор. наук, Л., 1939; Корсунский А. Р. О развитии феодальных отношений в готской Испании V—VII вв. (Формирование зависимого крестьянства) — В сб.: Средние века, вып. X, 1957, с. 37, 40—42; Он же. Готская Испания. М., 1969, с. 44—57.

⁷⁰ Pirenne H. *Mahomet et Charlemagne...*, p. 34.

⁷¹ См.: Корсунский А. Р. Образование раннефеодального государства..., с. 83—95.

⁷² Pirenne H. *Mahomet et Charlemagne...*, p. 35.

поздней Римской империи⁷³. Действительно, бургунды были сильно романизованы. Ко времени включения их в состав Франкского королевства, у них, как, впрочем, и у вестготов, видимо, завершился процесс слияния местной и германской знати.

Интенсивный процесс социальной дифференциации вел к оформлению Бургундского государства. В Бургундском королевстве весьма большую роль играли элементы римской государственности, трансформировавшиеся в новых социально-экономических условиях⁷⁴. Тем не менее дело не сводится к непосредственной преемственности социальных отношений и государственного устройства поздней Римской империи.

Как и в других частях Западной Римской империи, заселенных варварами, в Юго-Восточной Галлии шел процесс синтеза разлагающегося рабовладельческого строя с общинным. Несмотря на то, что процесс синтеза протекал здесь ускоренными темпами, в Бургундской правде нашли отражение многие существенные элементы общинного строя, которые довольно долго сохранялись даже у этого народа, хотя в данном случае начало синтеза непосредственно совпадает с самим временем поселения на территории империи⁷⁵.

Рассмотрев каждое из этих государств в отдельности, Пиренн приходит к общему выводу: «Таким образом, система управления остготов, вестготов, вандалов, бургундов была римской. От «основных германских учреждений», по существу, ничего не осталось. Прежний порядок продолжается и при новых королях, хотя, несомненно, некоторыми издержками. Единственным нововведением было то, что, благодаря разделу земель, армия не была наемной»⁷⁶. Следовательно, народное ополчение, бывшее одним из основных элементов политической системы варварских королевств, по логике Пиренна, отличается от позднеримской армии только тем, что оно не получало денежного содержания. В свете этого неудивителен только что приведенный вывод о государственном устройстве варварских обществ. Автор не скрывает того обстоятельства, что римские порядки и цивилизация переживали в это время «определенный упадок». Но он тут же спешит особо подчеркнуть, что это был «римский упадок, в котором незаметно ни одного ростка новой цивилизации»⁷⁷.

Переходя к рассмотрению франкского общества меровингской эпохи, Пиренн явно недооценивает место франков в жизни тогдашней Европы. По его мнению, франки действительно сыграли большую роль в судьбах Европы, но не ранее каролингского периода. На риторический вопрос о том, такова ли была роль франков в VI веке, бельгийский историк предпочитает «ответить не очень четко». Развивая это положение, Пиренн признает, что в северных районах Франкского королевства сохранялось чисто германское население. Но и это обстоятельство не в состоянии поколебать представлений Пиренна о неизбежности римских порядков, ибо, по его мнению, «в течение меровингского периода оно (германское насе-

⁷³ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 35.

⁷⁴ См.: Корсунский А. Р. Образование раннефеодального государства..., с. 102—104.

⁷⁵ Относительно общины и разложения общинного строя у бургундов см.: Грацианский Н. П. Указ. соч., с. 306—317; Неусыхин А. И. Возникновение зависимого крестьянства как класса раннефеодального общества в Западной Европе VI—VIII вв. М., 1956, с. 285—317; Ср.: Серовайский Я. Д. Изменения аграрного строя Бургундии в V в. — В сб.: Средние века, вып. XIV, 1959; Корсунский А. Р. Образование раннефеодального государства..., с. 44—48.

⁷⁶ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 35. Этот тезис Пиренна по сути дела повторяет широко известную оценку последствий германских вторжений, данную Фюстель де Куланжем. См.: Fustel de Coulanges. Op. cit., t. II, p. 558—559.

⁷⁷ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 36.

ление) не играло никакой роли»⁷⁸. Он полагает, что «королевство франков вплоть до каролингского периода было исключительно нейстрийским и романизованным, начиная с бассейна Сены до Пиренеев и моря. Впрочем, и сами франки, утвердившиеся здесь, были крайне малочисленны»⁷⁹. В ходе завоевания Галлии франкские учреждения исчезали, «напротив, старые римские институты сохранялись». Исходя из этого, Анри Пиренн уверяет, что франкское королевство «было более варваризованным, но не более германизованным, нежели другие государства, возникшие на территории Западной Римской империи»⁸⁰. Тем самым он пытается в этом случае свести дело к тому, что франки, по сравнению с другими германскими народами, были менее приобщены к римской культуре. Последнее, по его мнению, не мешало франкам усвоить и сохранить позднеримскую государственную систему.

Королевская власть во Франкском государстве осуществлялась в рамках римской «императорской концепции». «Франкский король, как и другие германские короли, был центром любой власти. Он был абсолютным деспотом»⁸¹. И в этом случае Пиренн идет в русле историков романистического направления, которые отрицают связь учреждений государственного аппарата варварских королевств с древнегерманской системой общественного управления, отстаивают «абсолютный» характер королевской власти раннефеодальных государств, возникших в Западной Европе в V—VI веках⁸². Пиренн рассматривает королевскую власть в варварских королевствах как прямое продолжение римской императорской власти. По его мнению, специфически германским в меровингских королях были лишь длинные волосы⁸³. Отсюда и его вывод о том, что «традиционный романизм сохранялся даже у франков»⁸⁴.

Анри Пиренн усматривает в варварских королевствах, возникших на территории Западной Римской империи, ряд общих черт, которые делают их не варварскими государствами, а «римскими варваризованными королевствами»⁸⁵. Эти черты заключаются в том, что эти королевства «являются абсолютистскими, светскими, и орудиями правления здесь выступают фиск и государственная казна»⁸⁶. Пиренн уверяет, что это — «римские или, если угодно, византийские черты». Бельгийский ученый повторяет свой тезис относительно того, что личная власть германских королей «была в точности такой же, какой она существовала в империи. Основой этой, якобы идентичной с римской императорской, власти он считает «финансовое могущество» германских владык, унаследовавших позднеримскую фискальную и денежную систему. В руках варварских королей оказались «императорские имения, леса, заброшенные земли, копи, порты, дороги». Это, как полагает Пиренн,

⁷⁸ Ibid., p. 36. См. также: Pirenne H. Histoire de l'Europe..., p. 9. Cp.: Dopsch A. Wirtschaftliche und soziale Grundlagen, der europäischen Kulturentwicklung. I. Teil. Wien, 1923, s. 231—232.

⁷⁹ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 37. Вопрос о структуре и социальной дифференциации Франкского королевства обстоятельно рассмотрен А. Р. Корсунским. См.: Корсунский А. Р. Образование раннефеодального государства..., с. 51—59, 108—121; См. также: Неусыхин А. И. Возникновение зависимого крепостства..., p. 37—38. Cp. Pirenne H. Histoire de l'Europe..., p. 11.

⁸⁰ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 37—38. Cp.: H. Pirenne. Histoire de l'Europe..., p. 11.

⁸¹ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 39.

⁸² См.: Fustel de Coulanges. Histoire des institutions politiques de l'ancienne France. Paris, 1891, t. III, p. 95—96; 127—135.

⁸³ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 38.

⁸⁴ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 40.

⁸⁵ Pirenne H. Histoire de l'Europe..., p. 11.

⁸⁶ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 40.

способствовало поступлению значительных денежных средств в распоряжение этих королей, что и позволяло им «оплачивать своих должностных лиц»⁸⁷. Он отрицает то обстоятельство, что могущество франкских королей меровингской династии базировалось прежде всего на оказавшемся в их распоряжении огромном земельном фонде. По его мнению, такая точка зрения проистекает оттого, что их рассматривают по аналогии с «последующими королями». Пиренн же находит, что «по своему денежному богатству они скорее напоминают византийских государей, чем Карла Великого»⁸⁸.

В качестве еще одного отличия меровингского государства от каролингского бельгийский историк приводит «его светский характер». По его мнению, «светское» государство Меровингов четко отличается от «религиозного» Каролингов. И это относится не только к франкам, но и в равной мере к остготам, вестготам, вандалам, бургундам. Таким образом, и в этом отношении «продолжался прежний порядок вещей»⁸⁹. К тому же эти королевства были римскими «не только потому, что римская цивилизация определила условия, в которых и благодаря которым они могли сформироваться, но также и потому, что они хотели быть римскими»⁹⁰. В свете всего приведенного естественно, что и «колонизованный варварами новый мир сохранил в основных своих чертах физиономию античного мира»⁹¹.

В плане своих представлений о характере перехода от античности к средневековью Анри Пиренн истолковывает попытку Юстиниана восстановить Римскую империю. Бельгийский автор указывает, что с «разделом западных провинций» варварами идея империи не исчезла. Развивая этот тезис, он уверяет, что никто не ставил под сомнение верховную власть императора, который «более не правил, но все еще царствовал». По мнению Пиренна, «за исключением короля вандалов, варварские короли рассматривали его (византийского императора — Г. С.) как их повелителя...»⁹². Пиренн полагает, что распад империи на две части, предшествовавший германским завоеваниям, носил чисто административный характер и не нарушил единства империи. После водворения германцев и исчезновения императора на Западе император Восточной Римской империи «один оказался во главе мира» и его главенство в той или иной мере признавалось германскими королями⁹³.

Бельгийский историк находит, что Византия имела основание и обладала определенными возможностями для восстановления целостности империи. Рассматривая события Юстиниана, Пиренн останавливается исключительно на событиях политической истории, а в качестве основного достижения Византии считает отвоевание средиземноморского бассейна⁹⁴. «Средиземное море вновь стало римским, или, иначе

⁸⁷ Ibid., p. 40.

⁸⁸ Ibid., p. 41.

⁸⁹ Ibid., p. 43.

⁹⁰ Pirenne H. Histoire de l'Europe..., p. 11.

⁹¹ Pirenne H. Les villes du moyen âge..., p. 12.

⁹² Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 44. Cp.: Latouche R. Les grandes invasions..., p. 159.

⁹³ Pirenne H. Histoire de l'Europe..., p. 14.

⁹⁴ Следует в этой связи заметить, что самые различные византинисты, зачастую удаленные друг от друга во времени, как правило, оценивают результаты реставраторской политики Юстиниана весьма скептически. См., например: Успенский Ф. И. История Византийской империи. СПб., № 1913, т. I, ч. II, с. 604, 647; Васильев А. А. Лекции по истории Византии. Пг., 1917, т. I, с. 136; Удальцова З. В. Италия и Византия в VI веке, с. 520—522. Диль III. Юстиниан и византийская цивилизация в VI веке. СПб., 1908, с. 214; Ahrweiler H. Byzance et la mer, Paris, 1966, p. 8—9.

сказать, византийским озером»⁹⁵. Провал попытки Юстиниана он объясняет исключительно тем, что силы Византии были истощены непрерывными войнами с Ираном, славянами и аварами, уходя тем самым от рассмотрения глубинных социально-экономических причин, которые обусловили как банкротство реставраторской политики императора Юстиниана, так и неудачи Византии в войнах на востоке. Анри Пиренн, как уже говорилось, отрицает качественное отличие общественного устройства варварских королевств от поздней Римской империи. В силу этого он и ограничивается рассмотрением чисто внешних причин крушения византийской экспансии, не ставит вопроса о том, насколько реальной была реставраторская политика Юстиниана.

Любопытно, как Пиренн трактует вопрос о роли лангобардского завоевания Италии, начавшегося буквально через несколько лет после смерти Юстиниана. Бельгийский историк признает, что у лангобардов сохранялись чисто германские учреждения, близкие по своему духу к англосаксонским⁹⁶. Он находит, что вторжение лангобардов — это «первый случай появления на континенте собственно завоевателей, не имеющих ничего общего ни с римской армией, ни с *foederati*». Но он тут же спешит оговориться, что лангобарды представляли собой не более как «банды грабителей», «насилия и тупоумная политика которых восстановила против них и население Италии, и церковь, и франков»⁹⁷. Помимо этого у лангобардов уже в седьмом веке «шел активный процесс романизации»⁹⁸.

Рассматривая конечные результаты византийской реставраторской политики, Пиренн отмечает, что, вопреки неудачам византийской экспансии, «Средиземное море не было утрачено. Африка, Сицилия, юг Италии остались римскими»⁹⁹. Это обстоятельство «позволяло ей (империи) рассчитывать на будущее»¹⁰⁰. Более того, Пиренн утверждает, что «вопреки своим потерям, империя оставалась единственной реальной силой в мире... Ее политика охватывала все народы. Она абсолютно доминировала над политикой германских государств. Вплоть до восьмого века в истории не было другого позитивного элемента, кроме влияния империи». Он находит, что безостановочный «процесс ориентализации, проявляющийся со времен Диоклетиана», в этот период становится определяющим. Благодаря развитию навигации, возможной ввиду наличия византийского контроля над Средиземным морем, влияние Византии «мало-помалу распространилось на Запад, который ничего не мог ей противопоставить». Признаки этого влияния Пиренн обнаруживает в Риме, Южной Италии, Испании, Африке и даже Галлии¹⁰¹. Исходя из этого, он заключает, что отчасти смягченная ирландским и англо-саксонским противодействием византизация Запада «была

⁹⁵ Pirenne H. Histoire de l'Europe..., p. 15. См. также: Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 49 et Les villes du moyen âge..., p. 13.

⁹⁶ Вопрос о характере лангобардского завоевания и общественном строе лангобардов детально рассмотрен в работах А. И. Неусыхина. См.: Неусыхин А. И. Возникновение зависимого крестьянства..., с. 225—284; он же. Общественный строй лангобардов в VI—VII вв.—В сб.: Средние века, вып. 1, 1942. См. также: Виноградов П. Г. Происхождение феодальных отношений в лангобардской Италии. СПб., 1880.

⁹⁷ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 51.

⁹⁸ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 55. Cp.: Dopsch A. Wirtschaftliche und soziale Grundlagen... „S. 210.

⁹⁹ Ibid., p. 51.

¹⁰⁰ Pirenne H. Histoire de l'Europe..., p. 16. Cp.: Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 67.

¹⁰¹ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 54.

на пути к будущему». И напротив, «от германизма самого по себе ожидать было еще нечего».

Развивая свою мысль о возможной византизации Запада, Пиренн находит, что ей не могло помешать и «различие языков», ибо «превосходство одной культуры над другой было слишком большим». Оставаясь в рамках разработанных им представлений о первенствующей роли торговли в социальной жизни общества, Пиренн выдвигает весьма характерный тезис, который должен подтвердить его мысль о сохранении античного социального и культурного наследия после падения Западной Римской империи. «Раз уж Средиземное море оставалось основным связующим звеном между Востоком и Западом, а оно им оставалось, преобладание первого над вторым было неизбежным. Море, над которым византийцы продолжали господствовать, повсюду распространяло их влияние. И именно благодаря морю на Западе, так же, как и на Востоке, продолжала существовать в целостности цивилизация эпохи»¹⁰².

Сохранение в раннесредневековой Европе основных черт «римской Европы» бельгийский автор объясняет тем, что, по его мнению, «вплоть до середины седьмого века Запад в результате средиземноморской навигации оставался под экономическим влиянием Востока»¹⁰³.

Пиренн находит, что утверждение варваров на территории Западной Римской империи не изменило характера землевладения и не привело к победе новых поземельных отношений. «То положение личности и земли, которое существовало перед вторжениями, сохранялось и после них...» Он отмечает, что грабежи и насилия, несомненно, имели место, но они не могли изменить общей картины экономической жизни империи. «Шторм сменился штилем». По мнению Пиренна, с момента раздела земель между варварами и коренным населением империи, с момента окончательного обоснования германцев все пошло по-старому. Он уверяет, что этот раздел «не привел к серьезному потрясению». Согласно представлениям бельгийского автора, раздел «не сопровождался поземельным переворотом» и «не ввел никакой новой формы землеобработки». Ничто, по его мнению, не изменилось и в положении самих землевладельцев. «Римские колонны остались прикрепленными к земле, с которой их связывала выплата подати. Вместо того, чтобы платить римскому хозяину, они стали платить германскому. Рабы были поделены. Что касается крестьян, то они не заметили особых перемен»¹⁰⁴.

Пиренн проводит мысль о незыблемости крупного землевладения в ходе оседания варваров на территории Западной Римской империи. Он определенно говорит о повсеместном сохранении «крупной галло-или испано- или итало-римской собственности». Пиренн в принципе склонен допустить существование «общинных прав землепользования, но, как уже отмечалось, ограничивает область их применения только крайним севером империи, а точнее территорией Британии и крайней оконечностью Галлии к северу от Сены»¹⁰⁵.

В этой связи уместно вспомнить о статье Пиренна, в которой он анализирует вопрос о свободе и собственности во Фландрии VII—XI веков¹⁰⁶. В этом исследовании он определенным образом признает наличие общинной системы землепользования или *Dorfsystem*. Но здесь же он уверяет, что «рядом с ней», то есть с общинной системой, германцы

¹⁰² Ibid., p. 55.

¹⁰³ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne, p. 67.

¹⁰⁴ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 57.

¹⁰⁵ Ibid., p. 58.

¹⁰⁶ Pirenne H. Liberté et propriété en Flandre du VII — au XI siècle. — «Bulletin de l'Académie royale de Belgique». Bruxelles, 1911, № 11.

искони знали «другую форму эксплуатации земли», а именно ту, «которую называли Hofsystem»¹⁰⁷. Во Фландрии он обнаруживает как раз «дворовую» систему землевладения и полагает, что «современный вид фламандских полей свидетельствует об их изначальном заселении в соответствии с принципами Hofsystem». Характерно и его истолкование свидетельств Салической правды. По мнению Пиренна, данные, «которые она содержит об аграрной организации, одинаково хорошо истолковываются как в пользу гипотезы Dorfsystem, как и в пользу гипотезы Hofsystem»¹⁰⁸. Он не отрицает наличия альменды. Но тут же уверяет, что альменда была явлением недолговечным, она могла распахиваться, «входить в частную собственность освоившего ее»¹⁰⁹.

На основании всего приведенного выше можно с уверенностью говорить о том, что Пиренн, по существу, не оставляет места для общинного землевладения, хотя и не отрицает в принципе его существования у германских народов. Что же касается территории Римской империи, заселенной германцами, то здесь продолжала существовать крупная частная земельная собственность, причем ее организация оставалась той, какой она была до варварских вторжений. Словом, «крупная земельная собственность осталась жизнеспособной»¹¹⁰. Далее Пиренн обнаруживает развитое денежное обложение держателей, на основании чего приходит к характерному выводу о том, что тогда «еще имелись циркуляция имущества и рыночный оборот». Он отрицает наличие натурального характера экономики этого периода. Для него неоспоримо не только преобладание крупной земельной собственности, но, несомненно, и то, «что крупная собственность в эту эпоху еще приносила значительные денежные доходы»¹¹¹. Приводя аргументы, которые должны подтвердить этот тезис, Пиренн в ряду прочих примеров приводит и Галлию, обнаруживает «косвенные доказательства стабильности экономической ситуации этой страны после водворения в ней варваров»¹¹².

Крупное землевладение в этой стране Пиренн обнаруживает еще в галльскую эпоху. Далее оно трансформировалось по образцу организации римской виллы и в этом качестве «пережило период германских нашествий»¹¹³. В этом случае в построениях Пиренна нетрудно обнаружить сходство с пониманием этого вопроса видным французским историком Марком Блоком, который, как известно, усматривал в развитии крупного землевладения непрерывный процесс, происходивший на протяжении галльского, римского и франкского периодов, не видел перелома, внесенного германской общиной в аграрный строй Галлии. Правда, в отличие от Пиренна, Блок признавал некоторые новшества во франкском обществе, прежде всего — увеличение числа мелких свободных собственников «за счет германцев, поселившихся на галльской земле»¹¹⁴. Последнее положение явно неприемлемо для Пиренна, поскольку тот находил, что социальная структура римского мира была нацело унаследована пришельцами. «Что касается социальных классов, то они остались теми же. Выше других стояли свободные (*ingenii*), которые по преимуществу состояли из аристократии, крупных собст-

¹⁰⁷ Pirenne H. *Liberté et propriété...*, p. 9—10.

¹⁰⁸ *Ibid.*, p. 11.

¹⁰⁹ *Ibid.*, p. 10.

¹¹⁰ Pirenne H. *Mahomet et Charlemagne...*, p. 58.

¹¹¹ Pirenne H. *Mahomet et Charlemagne...*, pp. 59—60.

¹¹² *Ibid.*, p. 60.

¹¹³ Pirenne H. *Le Mouvement économique et social au moyen âge du XI au milieu du XV siècle* — H. Pirenne. *Histoire économique de L'Occident médiéval...*, p. 163.

¹¹⁴ См.: Блок М. Характерные черты французской аграрной истории. М., 1957, с. 124—127.

венников (*senatores*). Впрочем, класс так называемых собственно свободных составлял вероятно лишь меньшинство. Далее обнаружим колонов, особенно многочисленных у вестготов, литов, вольноотпущенников. Были еще многочисленные рабы»¹¹⁵.

На основании изучения материала дарений и продаж в период VII — начала IX веков Пиренн приходит к мысли, что все лица, упоминающиеся в этой связи в документах, являются «не простыми свободными, собственноручно обрабатывающими свой участок земли, но разной степени важности вотчинниками»¹¹⁶. Необходимо заметить, что он приходит к этому выводу на основании изучения довольно узкого круга источников. Исходя из представлений о статичности раннегерманской общины, характерных для представителей буржуазной историографии, разделявших общинную теорию, Пиренн пишет, что если Фландрия в течение первых веков средневековья в целом должна была сохранять «аграрную организацию, введенную сюда салической колонизацией, то почему бы и вотчинной системе хозяйства не быть явлением очень ранним»¹¹⁷. По его мнению, она тогда тоже восходит к «эпохе франкского вторжения в бассейны Шельды и Лиса». Пиренн считает свой вывод существенным на том основании, что он «доставляет новый аргумент тем, кто вместе с Виттихом и Гильдебрандом и другими отвергает догму экономического равенства свободных германцев (*Vollfrein*) и относит последних к классу вотчинников (*Grundherren*)»¹¹⁸.

На основании сказанного можно утверждать, что Пиренн заведомо упрощенно понимал развитие поземельных отношений у франков. В свете его представлений не остается места для свободного общинного крестьянства, предшествовавшего феодально-зависимому крестьянству. Правда, он оговаривается, что его исследование ограничивается рамками начала седьмого века. Но уже с этого-то периода бесспорно наличие «значительной группы вотчинников», «численность и влияние которой не прекращали возрастать». Произвольно смешивая разнородные по смыслу термины, Пиренн находит, что «позднейшие тексты франкской эпохи обозначают лиц, составляющих эту группу, выражением *liberi homines* и *nobiles*». Если принять это утверждение, то в состав вотчинников оказываются включенными все свободные, с чем нельзя согласиться. Этому слою он противопоставляет «класс крестьян, живущих обработкой земли», которые по большей части находились в состоянии полусвободы¹¹⁹.

В свете рассмотренного понятно, что и после германских вторжений в поземельных отношениях ничего не изменилось. «Меровингская Франция сохранила, а церковь распространила ее (римскую виллу) по ту сторону Рейна по мере обращения этих областей в христианство»¹²⁰.

Категорически отрицая наличие новой, общинной формы собственности, принесенной варварами в ходе завоевания Западной Римской империи, Пиренн в качестве экономической основы феодального строя выдвигает оставшееся, по его мнению, неизменным крупное римское поместье. «В целом в эту эпоху именно крупное поместье оставалось исключительно важным экономическим и социальным элементом. Благодаря ему, экономическая база феодального строя была уже заложена».

¹¹⁵ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 60—61.

¹¹⁶ Pirenne H. Liberté et propriété en Flandre..., p. 19.

¹¹⁷ Ibid., p. 19—20.

¹¹⁸ Ibid., p. 20. Критический анализ концепций Гильдебранда и Виттиха см.: Данилов А. И. Проблемы аграрной истории раннего средневековья в немецкой историографии конца XIX — начала XX вв. М., 1958, с. 218—226; 286—303.

¹¹⁹ Pirenne H. Liberté et propriété en Flandre..., p. 29—30.

¹²⁰ Pirenne H. Le Mouvement économique et social..., p. 163.

на»¹²¹. Выдвинутое бельгийским историком положение по существу перекликается с крайне романтическим тезисом Фюстель де Куланжа, полагавшего, что только идентичная с римской «собственность, крупное поместье с его землями и людьми составили скрытые и прочные основания, на которых воздвигается феодальное здание»¹²². Торжеству феодализма в меровингский период, по мнению Пиренна, мешало прежде всего то, что «организация общества» не была еще полностью аграрной.

Пиренн полагал, что античная экономика почти в полном объеме сохранялась и в меровингскую эпоху. Он категорически утверждает, что если «читать без предвзятой идеи, в целом, достаточно многочисленные документы меровингских времен», то можно убедиться, что «экономическая жизнь этой эпохи в своих основных чертах осталась тем, чем она была в конце Римской империи»¹²³. Словом, сохранилась не только римская вилла, но и римский город, и, что особенно важно, развитая торговля. Оставаясь в рамках развиваемых им представлений о роли торговли, отказываясь признать качественное отличие экономики меровингского периода от позднеримской, он замечает, что в это время «торговля и города играли в совокупности экономической, социальной и интеллектуальной жизни значительную роль»¹²⁴.

Как известно, Пиренн отводил исключительно большую роль торговле, воспринимал ее в качестве стового хребта экономического развития и вследствие этого преувеличивал ее роль в историческом процессе в целом. Выясняя характер торговых отношений меровингской эпохи, Пиренн начинает свой анализ с рассмотрения торговли поздней Римской империи. Он еще раз напоминает о том, что восточная часть Римской империи была экономически более развитой, нежели западная. Пиренн рассказывает о том, как товары из Индии, Китая, Аравии стекались в Сирию, а сирийцы, наряду с товарами из развитых торговых центров самой Византии, доставляли их во все порты греко-римского мира, выступая тем самым в качестве «морских извозчиков, как голландцы в XVII веке». Германские вторжения «никоим образом не изменили этой ситуации». И даже если «Гейзерих со своими пиратами» несколько затруднил навигацию, то и в этом случае «после него она снова появилась в полном объеме»¹²⁵. Кроме сирийцев, активную роль в этой торговле играли греки, евреи и уроженцы Северной Африки¹²⁶. Восточные купцы селились в торговых центрах «Испании, Галлии, Британии, особенно на юге Европы»¹²⁷. Именно эти купцы, как полагает Пиренн, обеспечивали развитые торговые отношения во всем средиземноморском бассейне. Что же касается торговли западного атлантического побережья с британскими островами, которая хотя и пострадала в ходе англо-саксонского завоевания, но все же «продолжала существовать», то она была по преимуществу в руках местных

¹²¹ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 61.

¹²² Fustel de Coulanges. Op. cit., t. IV, p. 464.

¹²³ Pirenne H. Un contraste économique. Mérovingiens et Carolingiens..., p. 72. В другом случае он не менее категорично заявляет, что «экономическое развитие Европы проявляло себя как прямое продолжение экономического развития Римской империи». См.: Pirenne H. Les villes du moyen âge..., p. 14.

¹²⁴ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 61.

¹²⁵ Ibid., p. 62. Ср.: Doehaerd R. Méditerranée et économie occidentale pendant de haut moyen âge — «Cahiers d'histoire mondiale», Paris, 1954, vol. 1, № 3, p. 577.

¹²⁶ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 64—66, 68. Луи Брейе находит, что под собирательным названием «сирийцы», кроме собственно сирийцев, выступали греки, азиаты, египтяне и другие уроженцы Восточной Римской империи. См.: Brehier L. Les Colonies d'Orientaux en Occident au commencement du moyen âge — «Byzantinische Zeitschrift», t. XII, Leipzig, 1903, S. 3.

¹²⁷ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 62—63. Подробно о их расселении см.: Brehier L. Op. cit., S. 3—18.

уроженцев. В качестве развитых средиземноморских портов меровингской Галлии Пиренн называет Марсель, Нарбонн, Ним и другие города. Он полагает, что в них «сохранялась римская организация» торговли, обнаруживает «род товарной биржи», различные таможенные и фискальные учреждения.

Пиренн находит, что торговлю Галлии меровингского периода нельзя свести к торговле дорогими тканями и «предметами роскоши», хотя ввоз этих товаров и являлся самым обычным делом¹²⁸. По его мнению, одним из подлинно важных товаров, потребление которого было «действительно связано с повседневной жизнью», были пряности. В стремлении доказать этот тезис бельгийский исследователь приводит данные о торговле пряностями времен Римской империи. Он, в частности, ссылается на свидетельство Плиния Старшего относительно денежной стоимости ввоза восточных пряностей и утверждает, что импорт этого товара «не был подорван вторжениями». В качестве основного аргумента в защиту этого тезиса Пиренн приводит грамоту, данную королем Хильпериком II 29 апреля 716 года Корбийскому монастырю в Пикардии¹²⁹.

В первой части грамоты король Хильперик II, вслед за своим отцом Хильдериком II, подтверждает дарованное Хлотарем III Корбийскому монастырю право на ежегодное получение доли натуральных доходов от торговых пошлин Фоса, расположенного недалеко от Марселя. Во второй части грамоты Хильперик II дополняет сделанное до него дарение правом постоя, которое освобождает монастырь от транспортных издержек по доставке продуктов, получаемых в Фосе. Это право заключается в предоставлении монастырским посланцам транспортных средств, провианта и ночлега¹³⁰. Пиренн акцентирует внимание на перечне продуктов, получаемых Корбийским монастырем в Фосе. Этот перечень настолько любопытен, что заслуживает быть приведенным. Корбийский монастырь получал из королевских закромов Фоса ежегодно «10 тысяч ливров масла, 30 модиев гарума (особого рода приправа), 30 ливров перца, 150 ливров тмина, 2 ливра гвоздики, 1 ливр корицы, 2 ливра благовоний, 30 ливров *costus*'а (очевидно коренья), 50 ливров фиников, 100 ливров фиг, 100 ливров миндаля, 30 ливров фисташек, 100 ливров маслин, 50 ливров *hidgio* (ароматическое вещество), 150 ливров нута, 20 ливров риса, 10 ливров стручкового золотистого (перца?), 10 кож *seoda* (специально выделанные, видимо, промасленные), 10 кож кордовских, 50 свитков (свертков — *carta tomi* — папируса)»¹³¹.

Анализируя текст грамоты, бельгийский ученый делает следующие заключения. Первое: поскольку дарение не уточнено во времени, монастырь реализует его в зависимости от потребности, точнее когда ему удобно, и, следовательно, королевские закрома при пункте сбора пошлин в Фосе круглый год в изобилии содержали эти товары. Второе: вряд ли такое дарение было исключительной привилегией Корбийского аббатства или аббатства Сен-Дени, которое, согласно дошедшим документам, также пользовалось определенными льготами. Волею случая сохранились именно их привилегии, в то время как привилегии других

¹²⁸ Pirenne H. *Mahomet et Charlemagne...*, p. 68—70. Cp.' Pirenne. H. *Un Contre-raste économique...*, p. 74—75. См. также: Pirenne H. *Les villes du moyen âge...*, p. 21—22.

¹²⁹ См.: Levillain L. *Examen critique des chartes mérovingiennes et carolingiennes de l'abbaye de Corbie*, Paris, 1902, № 15, *Diplôme de Chilpéric II*, 716, 29 avril, Compiègne, p. 235—237.

¹³⁰ Наиболее серьезный анализ текста грамоты дан Левиеном. См.: Levillain L. *Examen critique des chartes mérovingiennes et carolingiennes de l'abbaye de Corbie*, Paris, 1902, № 15, *Diplôme de Chilpéric II*, 716, avril, Compiègne, p. 68—72, 198.

¹³¹ *Diplôme de Chilpéric II*, 716, avril, Compiègne — Levillain L. *Op. cit.*, p. 236.

исчезли. Прочие монастыри, следовательно, также могли иметь подобные пожалования, и речь скорее идет о правиле, нежели об исключении. На основании всего этого Пиренн полагает, что «пряности находились весьма широкое употребление, ибо даже монастырская кухня не могла обойтись без них»¹³². Подтверждение сказанному Пиренн находит во второй части грамоты, где говорится о снабжении монастырских посланцев — *missi*, отправлявшихся в Фос за получением пожалованного. В данном случае он ссылается на то, что в числе продуктов, составлявших дневное содержание *missi* упоминаются такие пряности, как «ливр гарума, одна унция перца и две унции тмина»¹³³. Исходя из этого, Пиренн утверждает, что в меровингский период употребление пряностей было повседневным, ибо «даже для бедняков перец был столь же обычен, как соль». Крайне расширительно истолковывая содержание грамоты Хильперика II, Пиренн уверяет, что ее данных «достаточно, чтобы подчеркнуть исключительную важность торговли пряностями в меровингскую эпоху». Более того, у него нет никаких сомнений в типичности этого явления: «То, что верно для Галлии, так же верно и для других берегов Тирренского моря»¹³⁴. В другом случае он заявляет, что перечень товаров, представленных в грамоте, неоспоримо свидетельствует об активности торговых отношений меровингской Галлии со странами восточносредиземноморского бассейна¹³⁵.

Оценивая интерпретацию Пиренном грамоты Хильперика II, можно сказать следующее: во-первых, он крайне расширительно трактует содержание грамоты; во-вторых, она неоднократно используется им при явной скудости других источников¹³⁶. Налицо стремление автора придать исключительную важность содержанию этого документа, который он истолковывает как самоочевидное доказательство существования развитых торгово-денежных отношений в меровингский период, а отсюда — и как свидетельство преемственности римских экономических порядков. К сказанному нелишне добавить, что узость источниковедческой базы Пиренна очевидна. Рассматриваемая грамота является ведущим звеном в цепи доказательств бельгийского автора. Найти иные, более веские аргументы, которые свидетельствовали бы в пользу развиваемой им концепции, Пиренну не удается. В силу этого не вызывает удивления и прокламируемая Пиренном претензия на истинность его интуитивных представлений: «Если скудость источников не позволяет нам привести окончательных доказательств, правдоподобия должно быть достаточно для нашего построения»¹³⁷.

Грамота Хильперика II является весьма специфическим документом. Как уже говорилось, она состоит из двух частей. Первая, процитированная выше, представляет собою пожалование Корбийскому монастырю доли натуральных доходов от торговых пошлин Фоса; а вторая — пожалование права постоя, согласно которому монастырь полностью

¹³² Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 72. См. также: Pirenne H. Le cellarium fiscali..., p. 110.

¹³³ См.: Diplôme de Chilperic II, 716, 29 avril..., p. 236.

¹³⁴ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 73.

¹³⁵ Pirenne H. Le commerce du papyrus dans la Gaule mérovingienne — H. Pirenne. Histoire économique de l'Occident..., p. 94—95.

¹³⁶ См., например: Un contraste économique. Mérovingiens et Carolingiens; Le commerce du papyrus dans la Gaule mérovingienne; Le cellarium fiscali une institution économique des temps mérovingiens; Pirenne H. Histoire économique de l'Occident médiéval..., p. 75, 94—95, 106, 109; Pirenne H. Les villes du moyen âge..., p. 20; Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 71—76.

¹³⁷ Pirenne H. L'instruction des marchands au moyen âge.— H. Pirenne. Histoire économique de l'Occident médiéval..., p. 556.

освобождался от накладных расходов по доставке груза из Фоса¹³⁸. Монастырские посланцы, *missi*, на каждом пункте смены лошадей должны были получать, согласно королевскому пожалованию, «десять сменных коней, десять белых хлебов, модий вина, два модия пива, 10 ливров сала, 20 пезе мяса, 12 ливров сыра, 20 ливров гороха, козленка, 5 цыплят, 10 яиц, 2 ливра масла, ливр гарума (приправа), унцию перца, две унции тмина, соль, уксус, масло и дрова в достаточном количестве». Для транспортировки груза из Фоса Корбийскому монастырю предоставлялось 15 сменных повозок с упряжью¹³⁹.

Сам факт пожалования доли доходов от торговых пошлин Фоса в виде продуктов явно свидетельствует о том, что эти пошлины, если не целиком, то в значительной мере, собирались натурой. Это обстоятельство трудно совместить с существованием развитых торгово-денежных отношений; интерпретируемый факт скорее согласуется с растущей натурализацией экономики меровингской эпохи, что, в свою очередь, не исключает возможности ввоза пряностей и ряда других товаров Востока. К тому же общеизвестно, что в странах западного средиземноморья в больших масштабах, нежели в других районах Европы, сохранились крупные города позднеантичного типа, это прежде всего относится к Италии и Южной Галлии. Естественно, что и средиземноморская торговля до некоторой степени сохраняла традиции позднеантичной эпохи, несмотря на ее явный прогрессирующий упадок, развивавшийся на протяжении всего раннего средневековья. Такова же, впрочем, судьба и южногалльских позднеантичных городов, которые на протяжении V—VII веков переживали безостановочный процесс экономического и культурного регресса, начавшегося еще в рамках поздней Римской империи, обострившегося после варварских завоеваний и приведшего в VII веке к полной утрате экономической и социальной значимости этих городов. Так, современный французский историк Феврие в своем специальном исследовании, посвященном городам Прованса, констатирует, что с VII века и вплоть до конца XI городская экономика в этом районе практически отсутствовала¹⁴⁰. Естественно, что в других, экономически менее развитых и в античную эпоху, районах Галлии, подвергшихся к тому же в ходе германских завоеваний относительно полной варваризации, аграризация хозяйства завершилась еще раньше.

Совершенно очевидно, что в меровингской Галлии, вопреки Пиренну, шел активный процесс натурализации хозяйственной жизни и именно в силу этого монахи Корбийского монастыря и получили в пожалование долю натуральных доходов от торговых пошлин, которыми королевский фиск облагал ввозимые товары. В этой связи характерна и ежегодная транспортировка полученных продуктов из Фоса в Корбийский монастырь, из Прованса в Пикардию через всю Францию с юга на север. Маловероятно, чтобы монастырь мог получить такое количество пряностей и других товаров Востока, кроме как путем ежегодной трудной транспортировки пожалованных продуктов из Фоса.

С прогрессирующей натурализацией меровингской экономики можно связать и уже приводившееся дополнение к дарению, сделанное Хильпериком II и освобождающее монастырь от путевых издержек. Видимо, монастырским *missi* было проще получить провиант от щедрот королевского фиска, нежели приобрести его в дороге. И в этом случае дело не может быть сведено просто к расширению сделанного ранее

¹³⁸ О праве постоя см.: Ganshof Fr. L. La tractoria contribution a l'étude des origines du droit de gîte — «Revue d'histoire du droit», Paris, 1927, t. VIII.

¹³⁹ См.: Diplome de Chilperic, 716, 29 avril..., p. 236.

¹⁴⁰ Février P. A. Le développement urbain en Provence de l'époque romaine à la fin du XIV siècle (Archéologie et histoire urbaine). Paris, 1964.

пожалования, так сказать, к новому королевскому благодеянию. Самое это дополнение было порождено практическими потребностями эпохи. И, наконец, вряд ли в качестве серьезного доказательства существования развитой торговли можно использовать то обстоятельство, что в дневной рацион монастырских *missi*, согласно дарственной Хильперика II, входили пряности. К тому же трудно судить, насколько реально были выполнимы все ее предписания. Не исключено, что в значительной степени они не выполнялись, являясь своего рода юридической фикцией. И прежде всего это относится к содержанию монастырских *missi*. Материал дарственной грамоты Хильперика II не подтверждает тезис Пиренна о существовании развитых торгово-денежных отношений в меровингский период, даже если принять утверждение этого автора о том, что подобные дарения были весьма распространенным делом. Напротив, содержание этого документа хорошо согласуется, более того, выявляет четкую картину натурального характера экономики меровингского периода.

Другим исключительно важным предметом торговли меровингской эпохи, по мнению А. Пиренна, был папирус, вывозившийся из Египта. Пиренн полагает, что уровень грамотности в меровингский период был не ниже того уровня, которым обладала поздняя Римская империя: «образованность в то время еще не концентрировалась в руках церкви и была широко распространена среди населения»¹⁴¹. Это утверждение вполне понятно в свете развивавшейся Пиренном концепции. Неудивительно и его заявление о том, что «в меровингскую эпоху писали более, чем в любую последующую, вплоть до начала XIII столетия»¹⁴². Естественно, что «практика делопроизводства сохранилась на всем Западе и после германских вторжений. Папирус в это время был главным пишущим материалом, пергамент употреблялся много реже». Пиренн утверждает, что «нужна была масса папируса для ведения фискальных реестров, для судопроизводства, для частной корреспонденции, для монастырей»¹⁴³.

С целью доказательства тезиса о том, что папирус выступал в качестве одного из основных импортных товаров, Пиренн приводит данные уже использовавшейся им грамоты Хильперика II от 716 года, в которой, наряду с пряностями, упоминается определенное количество папируса. Если говорить точнее, в источнике содержится выражение *carta tomi L*¹⁴⁴. Речь в данном случае идет скорее всего о папирусе, который обыкновенно обозначался в то время терминами: *charta tomus*, *chartarum tomi*, *tomus chartaccus*, *chartinacius*.¹⁴⁵ В своих работах бельгийский историк по-разному определяет количество папируса, упоминаемого в источнике. Так, в специальной статье, посвященной торговле папирусом в меровингской Галлии, Пиренн переводит выражение «*carta tomi L*» как «50 стоп папируса» и настаивает при этом, что следует видеть в такой стопе количество папируса, «аналогичное количеству, которое в наши дни составляет стопа в торговле бумагой»¹⁴⁶. Если принять это истолкование, то количество папируса, получаемого Корбийским монастырем в Фосе, будет равно самое малое 25000 листам, а то и вдвое больше, судя по тому, какую стопу имел в виду

¹⁴¹ Pirenne H. De l'état de l'instruction des laïques à l'époque mérovingienne — H. Pirenne. Histoire économique de l'Occident médiéval..., p. 138.

¹⁴² Pirenne H. Le commerce du papyrus..., p. 90.

¹⁴³ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 74.

¹⁴⁴ См.: Diplôme de Chilperic, 716, 29 avril..., p. 236.

¹⁴⁵ См.: Giry A. Manuel de diplomatique. Paris, 1894, p. 495, n. 3; Levillain L. Op. cit., p. 69, n. 3.

¹⁴⁶ Pirenne H. Le commerce du papyrus..., p. 95

Пиренн. Никаких оснований исчислять получаемый монастырем папирус в стопах нет. Налицо упрощенный модернистский подход к источнику. Такое истолкование и позволяет Пиренну аргументировать его тезис о широком развитии и исключительной роли средиземноморской торговли в меровингский период.

Естественно, столь вольная интерпретация данных источника вызывает оправданные возражения. На этом же основании вряд ли можно согласиться и с истолкованием Левийена, который переводит это выражение как «50 дестей папируса»¹⁴⁷. Кстати, позднее и Пиренн принял истолкование Левийена¹⁴⁸, хотя в одной из своих работ он предлагает переводить слово нейтральным термином сверток¹⁴⁹. Представляется, что наиболее серьезная попытка определения количества папируса, упоминаемого в дарственной грамоте Хильперика II от 716 года, дана бельгийским архивистом Э. Саббом. Используя папирологическую терминологию и данные сравнительного языкознания, он убедительно показывает, что выражение «carta tomī L» означает не что иное, как «50 листов или свитков папируса»¹⁵⁰. Аргументация Э. Сабба заслуживает доверия, а его истолкование кажется более соответствующим реальным потребностям меровингской эпохи. Естественно, что скромное количество папируса, упоминаемое в анализируемой грамоте, не может быть серьезным аргументом ни в пользу существования развитой средиземноморской торговли, ни тем более в пользу сохранения в меровингский период римской образованности, усиленно доказываемых А. Пиренном.

С целью доказательства наличия развитой торговли в меровингской Галлии, в частности и папирусом, Пиренн использует другой очень интересный источник. Этот документ находится в приложении к статутам Адаларда, аббата Корбийского монастыря, и представляет собою перечень пряностей и иных продуктов Востока, которые монахи должны были раз в год закупать на рынке в Камбрэ¹⁵¹. Пиренн считает, что рукопись, вопреки тому, что она содержится в приложении к источнику, составленному в 822 году¹⁵², «относится к меровингской эпохе, если не по форме, то, во всяком случае, по своему содержанию»¹⁵³. Определяющим аргументом в пользу такого вывода служит то, что в источнике приведены те же продукты стран Востока, что и в грамоте Хильперика II от 716 года. Вслед за Пиренном так же интерпретирует этот источник и известный бельгийский историк-урбанист Ф. Веркотерен. Попутно он повторяет соображения Пиренна и относительно грамоты Хильперика II от 716 года¹⁵⁴. В свою очередь Анри Пиренн в обобщающей работе ссылается на Веркотерена¹⁵⁵, хотя последний отнюдь не претендует на оригинальность своего истолкования и слово в слово пересказывает доказательства Пиренна. Налицо попытка Пиренна использовать сходство развиваемых Веркотереном положений с собственными, приводящая на деле к самоповторению. Это лишний раз свидетельствует о том,

¹⁴⁷ Levillain L. Op. cit., p. 69, 198. Также переводит это выражение и Салэн. См.: Salin E. La civilisation mérovingienne. Paris, 1949, t. 1, p. 136.

¹⁴⁸ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 74.

¹⁴⁹ Pirenne H. Le cellarium fisci..., p. 109, n. 3.

¹⁵⁰ См.: Sabbe E. Papyrus et parchemin au haut moyen âge.— «Miscellanea historica in honorem Leonis van der Essen», Brussel—Paris, 1947, p. 97—98.

¹⁵¹ См.: Brevis de Melle quod solver debent majores — Polyptyque de l'abbaye de Saint-Germain des Prés, publié par B. Guérard, t. II, Appendix, Paris, 1844, p. 336.

¹⁵² См.: Levillain L. Les statuts d'Adalhard — Le Moyen Age, 2 série, t. IV, Paris, 1900, p. 333.

¹⁵³ Pirenne H. Le commerce du papyrus..., p. 97.

¹⁵⁴ Vercauteren F. Etudes sur les civitates de la Belgique seconde. Contribution à l'histoire urbaine du Nord de la France de la fin III à la fin XI siècle, Bruxelles, 1934, p. 211—212.

¹⁵⁵ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 74, n. 4.

что Пиренну явно недостает фактического материала для аргументации развиваемой им концепции.

Ряд исследователей, вплотную занимавшихся этим документом, в том числе и тонкий знаток источников французского раннего средневековья Л. Левийен, пришли к выводу, что он относится к IX, а то и к X веку и, следовательно, является памятником каролингской эпохи¹⁵⁶. Пиренн же произвольно относит этот источник к числу меровингских. При этом важнейшим аргументом в пользу подобной датировки для Пиренна является факт упоминания в документе купли пряностей и папируса¹⁵⁷. Пиренн использует этот документ в ходе аргументации своей концепции, привлекая его данные как очевидное свидетельство развитых торговых отношений в меровингскую эпоху.

Однако выдвинутое им положение о меровингском происхождении приводимого источника остается недоказанным. Маловероятно, чтобы пряности и папирус нацело исчезли из торговли каролингского периода. Достаточно сказать, что в канцелярии римского папы папирус с успехом употреблялся на протяжении VIII, IX, X и XI веков. Первая папская булла, написанная на пергаменте, относится к 1022 году, но и после этого канцелярия зачастую использовала папирус¹⁵⁸. Количество закупаемых в Камбрэ пряностей и других товаров не так уж велико. В перечне названы перец, гвоздика, корица, благовония, ладан, сера, воск, папирус и прочие продукты. В большом количестве закупались только перец—120 ливров, воск—600 ливров, который вряд ли привозился издалека. Прочие товары закупались в незначительном количестве: 15, 10, а то 2—3 ливра. Наиболее очевидна мизерность монастырских закупок на примере папируса, которого приобреталось на два денария к дню св. Стефана, на денарий к дню св. Петра и на денарий к дню св. Иоанна¹⁵⁹. Факт, мимо которого Пиренн проходит и который явно не согласуется с его построениями.

К какому бы времени ни относился документ, его содержание противоречит определяющей установке бельгийского историка. Судя по целому ряду признаков, документ можно отнести к каролингской эпохе. Давая оценку рыночным связям, зафиксированным в источнике, следует отметить, что они не носят экономически определяющего характера. Сам факт разовой закупки редких, экзотических товаров, хотя бы и ежегодной, не может быть истолкован как аргумент в пользу существования развитых торгово-денежных отношений. Подобного рода связи с рынком никоим образом не исключают господства натурального хозяйства. Советский ученый А. Д. Удальцов на основании анализа статут-ов Адаларда, источника, к которому хронологически и тематически примыкает рассматриваемый, пришел к выводу, что в хозяйстве Корбийского монастыря «производство рассчитано прежде всего на удовлетворение тех потребностей, которые предъявляет монастырское население». Далее он констатирует «в том же источнике целый ряд фактов, указывающих на связь хозяйства Корбийского монастыря с рынком и на применение в нем наемного труда»¹⁶⁰. Исследование Удальцова дает возможность лишний раз убедиться в том, что натуральная система хозяйства отнюдь не исключала связей крупного поместья, каковым

¹⁵⁶ См.: Levillain L. Op. cit., p. 336; Lesne E. L'économie domestique d'un monastère au IX siècle d'après les statuts d'Adalhard, abbé de Corbie — *Mélanges d'histoire du moyen âge offerts à M. Ferdinand Lot*, Paris, 1925, p. 386, n. 3. Cp.: Heyd W. *Histoire du commerce du Levant au Moyen Age*, Leipzig, 1885, t. I, p. 93.

¹⁵⁷ Pirenne H. *Le commerce du papyrus...*, p. 98.

¹⁵⁸ Prou M. *Manuel de paléographie latine et française*, Paris, 1890, p. 176.

¹⁵⁹ См.: Polyptyque de l'abbaye de Saint-Germain..., t. II, p. 336.

¹⁶⁰ Удальцов А. Д. Из аграрной истории Каролингской Фландрии. М.-Л., 1935, с. 48, 49.

ныступает хозяйство Корбийского монастыря, с рынком. В свете всего приведенного очевидна фактическая бездоказательность анализируемых постулатов Пиренна.

Развивая свой тезис о роли внешней, прежде всего средиземноморской торговли, Пиренн говорит и об оливковом масле, которое, по его мнению, в большом количестве ввозилось в Галлию из Африки. В качестве доказательства он вновь приводит данные грамоты Хильперика от 716 года. Приводит он и другие менее значительные факты, которыми пытается любой ценой подтвердить тезис о том, что «...навигация оставалась столь же активной, как во времена империи»¹⁶¹. Бельгийский историк находит, что меровингская Галлия наряду с оживленным импортом проводила не менее активный, тесно связанный с развитой внутренней торговлей экспорт. Объектом вывоза за море были прежде всего рабы, а наряду с ними ткани, строевой лес, одежда, «может быть, также краситель-марена»¹⁶². Доказывая активность внутренней торговли, Пиренн уверяет, что она сохранилась в том же объеме, в каком «существовала в империи до германских вторжений». Для него является бесспорным, что эта торговля осуществлялась в городах, которые сохранялись на протяжении всей меровингской эпохи, были одновременно церковными и торговыми центрами, отчасти и ремесленными. Пиренн находит, что даже на севере Галлии, где города были сравнительно слабо развиты, они играли важную экономическую роль¹⁶³. Еще более очевидно это для городов юга. Пиренн не отрицает, что города пострадали в ходе варварских завоеваний, но «тем не менее, все они еще существовали». Отстаивая тезис о преемственности позднеримских экономических порядков в меровингский период, он выдвигает как очевидность определяющий для него аргумент. «...Они (города.— С. С.) были постоянными центрами торговли. С этой точки зрения античная экономика продолжалась»¹⁶⁴.

Характерные черты античной экономики усматривает Пиренн и в организации меровингской торговли. Так, он отмечает, что меровингская эпоха не знала присущих средневековой ярмарок типа тех, что позднее регулярно функционировали в Шампани. Напротив, торговля меровингского периода, как и античная, по его мнению, осуществлялась профессиональными, не объединенными в гильдии торговцами, как восточными, так и местными, в постоянно действовавших городских торговых центрах. Пиренн считает, что в меровингский период, как и в предшествующие времена, определяющим в этой торговле было наличие развитой системы «перевалочных пунктов и причалов», а не мелкие локальные рынки. Он делает акцент на том, что сохранилась римская система обложения товаров и разного рода подати и сборы взимались в «тех же пунктах, что и в римскую эпоху». Все эти обложения, по мнению Пиренна, «взимались исключительно деньгами». Правда, король мог сделать исключение в пользу монастырей, «но помимо периода упадка он не производил передачи прав»¹⁶⁵.

В этой связи следует вспомнить рассмотренную выше грамоту Хильперика II от 716 года. Бесспорно, что конец VII — начало VIII веков — период меровингского упадка, но бесспорно и то, что грамота Хильперика II — основной детально разработанный и неоднократно привлекаемый Пиренном источник, которым он аргументирует свой

¹⁶¹ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 77.

¹⁶² Ibid., p. 78—82. Ср.: Pirenne H. Les villes du moyen âge..., p. 21—23.

¹⁶³ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 86.

¹⁶⁴ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 87. Ср.: Dopsch A. Wirtschaftliche und soziale Grundlagen..., S. 192.

¹⁶⁵ Ibid., p. 88.

тезис о процветании средиземноморской торговли в меровингский период. Однако этот источник явно свидетельствует о **натуральных** платежах. С целью доказательства своего тезиса Пиренн на основании содержащегося в тексте грамоты термина *cellarius* (должностное лицо, от которого монастырские посланцы получают пожалование), выводит целое меровингское учреждение *cellarium fisci*, роль которого, по его мнению, «аналогична роли наших современных таможенных пакгаузов»¹⁶⁶. Представляется, что здесь имеет место довольно вольная интерпретация источника. Однако если и принять это истолкование, то все равно, судя по содержанию грамоты, пошлина с привезенных товаров собиралась натурой. Не исключено, что в той или иной степени это явление имело место уже и в позднеримскую эпоху. Словом, тезис Пиренна об исключительно денежном обложении меровингским фиском «торгового оборота», что в свою очередь должно служить аргументом в пользу существования развитой товарно-денежной экономики, недоказуем. Сказанное не исключает того обстоятельства, что наряду с натуральными платежами могли существовать и денежные пошлины.

Можно с известной оговоркой согласиться с Пиренном, когда он утверждает, что римская налоговая система «существовала в своих основных чертах на протяжении большей части меровингского периода»¹⁶⁷. Это относится, по его мнению, как к франкам, так и к остготам, вестготам и вандалам. Однако следует сказать, что если у готов позднеримская налоговая система получила самое широкое распространение и нацело определила фискальное устройство, то у франков дело обстояло сложнее. Хотя взимание прежних римских налогов продолжалось и после завоевания Галлии, прежде всего с коренного населения, нельзя игнорировать то обстоятельство, что исключительно важной статьей доходов франкского короля были поступления от многочисленных королевских владений, сложившихся в ходе завоевания. Нельзя забывать и другую весьма важную статью королевских доходов — часть судебных штрафов¹⁶⁸. Наконец, согласно древнегерманским обычаям, король получал часть военной добычи. Пиренн не отрицает наличия статей доходов Франкского королевства, не связанных с позднеримской фискальной системой, но явно недооценивает их. По поводу ряда этих статей он говорит, что «невозможно включать их в число нормальных ресурсов меровингской монархии»¹⁶⁹. В целом очевидно стремление бельгийского историка к отрицанию воздействия франкских общественных учреждений, внесенных в Галлию завоеванием. Он категорически заявляет: «За исключением нескольких незначительных деталей обнаружить здесь германские черты невозможно...»¹⁷⁰.

Говоря о налоговой системе варварских германских королевств, необходимо отметить, что готы не подлежали обложению поземельным налогом за участки земли, полученные ими по разделу, франки первоначально тоже не платили налогов¹⁷¹. В этой связи нельзя не согласиться

¹⁶⁶ Pirenne H. Le cellarium fisci..., p. 110.

¹⁶⁷ Pirenne H. Le trésor des rois mérovingiens.— Pirenne H. Histoire économique de l'Occident médiéval..., p. 118.

¹⁶⁸ Lex Salica, XXXV, § 7; L, § 3; LXII, § 1; XLIV, § 10. По поводу титула XLIV, § 10 см.: Lex Salica, Cap. V, § 2. О судебных штрафах см.: Грацианский Н. П. О материальных взысканиях в варварских правдах. — Грацианский Н. П. Из социально-экономической истории..., с. 295, 303. См. также редакционное примечание к статье: Грацианский Н. П. Введение к изданию перевода Салической правды. Указ. соч., с. 106—108.

¹⁶⁹ Pirenne H. Le trésor des rois mérovingiens..., p. 121.

¹⁷⁰ Ibid., p. 121, n. 1.

¹⁷¹ См. по этому поводу: Грацианский Н. П. О разделах земель..., с. 319; Корсунский А. Р. Образование раннефеодального государства..., с. 90, 98, 114;

ся с глубоким и интересным тезисом З. В. Удальцовой о том, что «у остготов, так же, как у вестготов и франков, был проведен в жизнь принцип освобождения от налогового обложения участков земли, дарованных за выполнение воинской повинности, принцип, получивший в дальнейшем столь широкое распространение в связи с развитием феодализма»¹⁷².

Пиренн проходит мимо отмеченного факта, ограничиваясь по поводу взимания налогов замечанием: «...все то, что нам известно, свидетельствует, что оно оставалось полностью римским»¹⁷³. Он, правда, отмечает, что «бюрократическая система империи всерьез ухудшилась уже к V веку», а позднее и варваризовалась. Последнее, по его мнению, выразилось в том, что от римской фискальной системы в новых условиях требовали одного: регулярных денежных поступлений в королевскую казну. Несмотря на эти изменения, не что иное, как «денежные средства были по преимуществу опорой меровингского государства». Пиренн неоднократно повторяет, что земельный фонд Меровингов был весьма значителен, но, вопреки очевидности, не в нем видит он основу их экономической мощи. По его мнению, эта основа заключалась в фискальной системе Меровингов, унаследованной от Римской империи. Налоги меровингского периода «в соответствии с римской традицией» делились на прямые и косвенные. Что касается первых, бельгийский историк нацело отождествляет их с основными налогами империи. Еще более ярким свидетельством «сохранения римской администрации», по мнению Пиренна, является взимание косвенных налогов. Как в позднеримский период, так и в меровингский косвенные налоги «заключались главным образом в той совокупности прав обложения товарного обращения, которую продолжали называть римским словом *theloneum*»¹⁷⁴. В целом меровингская фискальная система «питалась исключительно налогами». На основании приведенного естественно утверждение Пиренна о том, что «меровингские монархи обладали такой денежной мощью, какая после них не встречалась более на протяжении долгих веков»¹⁷⁵.

Оставаясь в рамках развиваемой им торговой теории, которую следует рассматривать как методологическую основу постулируемой концепции, Пиренн уверяет, что совокупность косвенных налогов была «более обильным источником меровингской казны» и оставалась таковой «вплоть до того дня, когда мусульманское вторжение в средиземноморский бассейн закрыло для судоходства порты южной Галлии и вызвало быстрый упадок торговли, которая поддерживалась в королевстве в хорошем состоянии именно этим судоходством»¹⁷⁶. Однако, по мысли Пиренна, эти события знаменуют уже закат порядков, присущих меровингской эпохе, и развитие принципиально новых экономических и социальных явлений, что же касается предшествующего периода, то здесь «до очевидности ясно, что меровингские учреждения в денежных делах были лишь продолжением римской администрации»¹⁷⁷. Необходимо

он же. Готская Испания..., с. 274; Удальцова З. В. Италия и Византия в VI веке..., с. 181—184.

¹⁷² Удальцова З. В. Указ. соч., с. 184.

¹⁷³ Pirenne H. Le trésor der rois mérovingiens..., p. 119—120.

¹⁷⁴ Ibid., p. 120.

¹⁷⁵ Ibid., p. 119. Бельгийская исследовательница Р. Дехер категорически оспаривает это мнение Пиренна. В специальной работе она рассматривает доходы меровингского фиска и приходит к мысли, что экономическая база династии Меровингов «заключалась прежде всего в землях, рабах, эксплуатации их труда и в натуральных поборах. Деньги же были явно на втором плане». См.: Doehaerd R. La richesse des Mérovingiens. — «Studi in onore di Gino Luzzatto», Milano, 1950, p. 37.

¹⁷⁶ Pirenne H. Le trésor des rois mérovingiens..., p. 125.

¹⁷⁷ Ibid., p. 121.

отметить, что о сохранении римской системы налогового обложения писал и Фюстель де Куланж. Однако даже этот французский историк, широко известный своими крайне романистическими настроениями, ставил под сомнение эффективность этой системы в условиях Франкского государства. Так, он полагал, что в меровингский период изображаемая им картина налогового обложения «представляет скорее повинности населения, нежели реальные доходы королевского фиска»¹⁷⁸. В этом случае нельзя отказать Фюстелю в реалистическом подходе к рассматриваемому явлению.

Мысль, развиваемая Анри Пиренном по поводу фискальной системы меровингской монархии, далеко не нова, хотя, как можно было видеть, она обогащена и переосмыслена в духе развиваемой им концепции. Характерно, что бельгийский историк в объяснении живучести поздне-римской фискальной системы не всегда выдерживает до конца логически намеченного им обоснования ее существования в меровингский период сохранением поздне-римской экономической структуры. Во многом преемственность этой системы объясняется им просто сохранением сведущих чиновников. Так, он пишет: «Взимание налогов было еще возможно потому, что «король располагал грамотными агентами...» В другом случае он уточняет свою мысль: «Они (Меровинги — Г. С.) всегда располагали достаточно обученными людьми, чтобы вести делопроизводство и исполнять те функции, которых требовал совершенный финансовый организм»¹⁷⁹. Впрочем, необходимо оговориться, что это связано и с настойчиво отстаивавшимся Пиренном положением о практически полной преемственности позднеантичной цивилизации в меровингский период.

Существенный интерес вызывают представления Пиренна о денежной системе Меровингов. Широко известно, что денежной единицей того времени являлся золотой солид, чеканившийся по образцу римского золотого солида поздней империи¹⁸⁰. На этом основании бельгийский историк уверяет, что денежное обращение не подвергалось ни «малейшему изменению» в ходе варварских завоеваний. Этот же аргумент используется Пиренном и для подтверждения тезиса о преемственности развитой, в его понимании, позднеантичной экономики в меровингский период: «Нет ничего иного, что свидетельствовало бы лучше об устойчивости экономического единства империи»¹⁸¹.

Заслуживает внимания интерпретация Р. Дехер факта существования золотого солида в качестве денежной единицы меровингской эпохи. Оспаривая тезис Пиренна, исследовательница отказывается признать этот факт за «признак исключительного экономического процветания Запада». По ее мнению, сохранение золотого солида в качестве денежной единицы свидетельствует о том, что обмен в меровингский период «ограничивался предметами роскоши, удовлетворял прежде всего запросы имущих и не мог играть существенной роли в меровингской экономике»¹⁸².

Пиренн полагает, что в меровингском обществе золото было основным платежным средством. «Денежная система варваров была той

¹⁷⁸ Fustel de Coulanges. Op. cit., t. III, p. 277.

¹⁷⁹ Pirenne H. Le trésor des rois mérovingiens..., p. 122.

¹⁸⁰ См., например: Грацианский Н. П. О материальных взысканиях, с. 286; Bloch M. Le problème de l'or au moyen âge — «Annales d'histoire économique et sociale», Paris, 1933, № 19, p. 1—2.

¹⁸¹ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 89. Cp.: Vercauteren F. Op. cit., p. 450.

¹⁸² См.: Doehaerd R. Méditerranée et économie occidentale..., p. 578.

же, что и денежная система Рима»¹⁸³. Словом, он настаивает на золотом монометаллизме в меровингский период и в этом плане оспаривает мнение А. Допша¹⁸⁴. Далее Пиренн повествует о денежной чеканке в варварских королевствах. Он отмечает, что монеты чеканились во многих местах. Кроме королевского монетного двора, деньги чеканили церковные учреждения и частные лица. Пиренн несогласен с французским исследователем М. Пру, который полагал, что существовало несколько постоянно действующих монетных дворов¹⁸⁵. Такой разноречивостью объясняется, по мнению Пиренна, тем, что «эти деньги чеканились по случаю взимания налогов»¹⁸⁶. Пиренн, правда, оговаривается, что за чеканкой монеты осуществлялся контроль фиска и существовала единая монетная система¹⁸⁷. Вопреки этой оговорке, примечателен сам факт отмечаемой Пиренном денежной чеканки «по случаю взимания налогов» и осуществляемой, по-видимому, произвольно, по мере потребности в монете. Этот факт можно смело рассматривать как ярчайшее свидетельство в пользу существования отрицаемой Пиренном натуральности экономики меровингского периода.

Настаивая на своем тезисе, Пиренн стремится подкрепить его соображением о том, что монетная чеканка была постоянной. А из того бесспорного факта, что «короли, церковь и частные лица» располагали определенным количеством золота, он делает неоправданно широкое заключение о наличии в меровингский период «поистине огромных запасов золота на западе». Справедливо указывая, что существенных месторождений золота в Западной Европе не было, бельгийский историк считает, что оно непрерывно прибывало в результате развитого торгового обмена. По существу, повторяясь, он вновь перечисляет денежные ресурсы меровингского фиска и делает знаменательный вывод: «Я вижу, что только торговля могла безостановочно доставлять столько золота на запад»¹⁸⁸. Однако привести какие-то серьезные данные, которые действительно бы свидетельствовали об интенсивной транзитной торговле, да еще с положительным балансом, Пиренн не может и ссылается на крайнюю скудость источников.

Представляется уместным привести соображения других исследователей по вопросу о роли обмена в меровингский период. Морис Пру, в свое время затрагивавший этот вопрос, считал, что торговля велась с большим дефицитом для Франкского королевства. И это, естественно, вело к исчезновению золота на Западе¹⁸⁹. Салэн в своей капитальной работе уделяет большое внимание меровингской торговле и приводит интересный фактический материал. На основании детального анализа этого материала он приходит к выводу о преобладании ввоза над вывозом в Галлии, что определило «непрерывный отток золота», который «должен был закончиться истощением запасов драгоценного металла в стране». Он отмечает, что это «должно было иметь крайне пагубные последствия для экономики меровингской Галлии» и прежде всего при-

¹⁸³ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 90. См. также: Pirenne H. Un contraste économique..., p. 73.

¹⁸⁴ См.: Dopsch A. Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europäischen Kultur-entwicklung, II Teil. Wien, 1924.

¹⁸⁵ См.: Prou M. Introduction au catalogue des monnaies mérovingiennes de la Bibliothèque Nationale, Paris, 1892, p. LXX, LXXXII. Cp.: Gênicot L. Aux origines de la civilisation occidentale. Nord et Sud de la Gaule — «Miscellanea historica in honorem Leonis van der Essen», Brussel—Paris, 1947, p. 90.

¹⁸⁶ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 93.

¹⁸⁷ Cp.: Prou M. Introduction au catalogue..., p. LIV.

¹⁸⁸ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 94.

¹⁸⁹ См.: Prou M. La Gaule mérovingienne, Paris, s. d., p. 177.

вести к неизбежному сокращению торговли со странами Востока¹⁹⁰. Р. Дехер, с откровенным скепсисом воспринимающая масштабы меровингской торговли, полагает, что реальную пользу из этой торговли извлекали лишь «франкский король и графы» за счет «косвенных налогов, выплачиваемых деньгами и натурой»¹⁹¹.

Настаивая на факте существования в меровингской Галлии большого количества мобильного драгоценного металла, факте, взятом им за постулат, но должным образом не аргументированном, Пиренн считает «бесспорным, что существовало развитое денежное обращение». Он на основании всего сказанного призывает «отказаться от идеи, что для меровингской эпохи характерен режим натуральной экономики»¹⁹². Отстаивая эти представления, он приводит разрозненные частные факты, свидетельствующие о сборе налогов и ростовщических операциях, факты, коим в его концепции придается значение, им не свойственное. Вместо вывода Пиренн вновь выдвигает тезис, который развивается им в качестве одного из основополагающих: «Итак, из всего этого с очевидностью вытекает продолжение римской экономической жизни в меровингскую эпоху во всем бассейне Тирренского моря. Несомненно: то, что мы констатируем для Галлии, относится также к Африке и Испании». Резюмируя положения, которые он развивал в ходе аргументации своей концепции, Пиренн выделяет черты, якобы характерные как для позднеримской, так и меровингской экономических структур. К числу их он относит, естественно, развитую навигацию, активную внешнюю торговлю, организацию портов, систему таможенного и налогового обложения, активное денежное обращение, наличие долговых обязательств, отсутствие мелких рынков, постоянную торговлю в городах, осуществляемую профессиональными торговцами¹⁹³. Таким образом, основные элементы проводимой им реконструкции экономики меровингского общества сформулированы строго в русле его теории об исключительной роли торговли в развитии общества.

Из основного тезиса Пиренна вытекает, в частности, его положение о практической идентичности позднеримской и меровингской культур¹⁹⁴.

Именно преемственность позднеримской торговли в последующее время обусловила, по его мнению, сохранность античной культуры, которая была «необходимым следствием» существования «экономической конъюнктуры». Пиренн не отрицает упадка античной культуры, начавшегося еще в рамках римского мира, но категорически возражает против посылки о катастрофических последствиях варварских вторжений. Он уверяет, что «они, германцы, сохранили нетронутым существовавшее положение вещей. Разрушить римской цивилизации они не могли, обогатить ее чем-то качественно новым — тем более». Культурный регресс, начавшийся до завоеваний, продолжался в рамках «новых государств западного Средиземноморья», он разве что только ускорился. Но несмотря на этот упадок, римская традиция продолжала существовать, и «в целом вторжения не изменили характера интеллектуальной жизни в западной части средиземноморского бассейна»¹⁹⁵. К тому же влияние Византии, которое, по мнению Пиренна, сказывалось в самых разных аспектах жизни меровингского общества, не могло не способствовать сохранению характерных черт римской культуры.

¹⁹⁰ См.: Salin E. Op. cit., p. 141—142.

¹⁹¹ См.: Déehaerd R. Méditerranée et économie occidentale..., p. 578.

¹⁹² Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 96.

¹⁹³ См.: Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 98—99.

¹⁹⁴ Pirenne H. L'instruction des marchands..., p. 556.

¹⁹⁵ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 106.

В этой же связи можно привести любопытное соображение Пиренна относительно самого механизма преемственности римской культуры. По его мнению, в меровингский период «среди массы безграмотных продолжало существовать меньшинство, обладающее определенной образованностью, меньшинство, благодаря которому цивилизация эпохи была настолько близка античной цивилизации, насколько она отличалась от цивилизации средневековой»¹⁹⁶. Выдвигаемый в данном случае критерий весьма спорен. Скучные остатки постепенно угасавшей античной образованности никоим образом не могли изменить общей картины культурного развития раннесредневековой Европы. Неудивительно, что Пиренн подкрепляет свой тезис соображением о сохранении светского характера общественной жизни в меровингский период, что, по его мнению, является определяющим моментом как для античной, так и меровингской цивилизаций.

В доказательство этого тезиса он приводит соображение о том, что в меровингский период церковь, хотя она и пользовалась большим влиянием, «не составляла единого целого с государством. Политическая власть королей, как и их предшественников — императоров, была чисто светской»¹⁹⁷. Этот же светский характер Пиренн усматривает и в сохранении позднеантичной системы образования¹⁹⁸. Наконец, и искусство сохранило свой светский характер, и его развитие не было прервано ходом варварских завоеваний. Оно, правда, эволюционировало, но его эволюция в меровингскую эпоху была не более как «продолжением того процесса ориентализации, которая под влиянием Персии, Сирии, Египта все более и более проявлялась в империи»¹⁹⁹. Далее Пиренн уточняет свою мысль и уверяет, что «оно (искусство.— Г. С.) развивалось в византийском направлении, и это, по его мнению, характерно для всего Средиземноморья»²⁰⁰. Таким образом, для Пиренна вопрос о преемственности позднеимперского наследия в культуре меровингского периода очевиден. Возможности же для дальнейшего развития этой культуры Пиренн видит в прогрессирующей византизации социально-экономического и культурного уклада стран Западного Средиземноморья. Необходимо особо отметить, что тезисы Пиренна о преемственности культурного развития меровингской эпохи аргументированы довольно слабо: система доказательств непрерывности позднеимперской цивилизации в меровингский период во всех исследованиях Пиренна удивительно однообразна, небогата фактическим материалом.

В выводах, к которым приходит Пиренн на основании рассмотрения совокупности социально-экономической и культурной жизни меровингского общества, он в сжатом виде повторяет собственные тезисы, подменяя доказательства умозрительными заключениями и яркой, весьма характерной экспрессией. Как уже говорилось, утверждение варваров в империи, по его мнению, не означает рубежа качественно нового периода в истории. Он уверен, что после этого события сохранились «язык, денежная система, система письма, система мер и весов, социальные классы, религия (роль арианства сильно преувеличена), искусство, право, администрация, налоги, экономическая организация». Возникновение германских государств на территории империи, с точки

¹⁹⁶ Pirenne H. De l'état de l'instruction des laïques à l'époque mérovingienne — H. Pirenne. Histoire économique de l'Occident médiéval..., p. 145.

¹⁹⁷ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 118.

¹⁹⁸ См.: Ibid., p. 120—122, а также: De l'état de l'instruction des laïques..., p. 136—149; L'instruction des marchands au moyen âge..., p. 551—556.

¹⁹⁹ Pirenne H. Mahomet et Charlemagne..., p. 112.

²⁰⁰ Ibid., p. 118.

зрения Пиренна, это то же, что заселение старого дворца, который «отныне поделен на квартиры, но продолжает существовать как единое здание»²⁰¹.

В качестве основного новшества эпохи бельгийский историк выдвигает чисто политический факт — «множественность государств, заменивших на Западе единство римского государства». Он тут же спешит оговориться, что это чисто внешнее изменение, в существе же своем жизнь Европы осталась неизменной. Исключение составляет только Британия, нацело германизированная англосаксами, «нордическая, или германская, цивилизация» которых «противостояла синкретической, средиземноморской цивилизации». «Но зрелище, которое представляла англосаксонская Британия, было единственным в своем роде». Бельгийский исследователь утверждает, что напрасно искать нечто подобное на континенте. Если же к северу от Рейна и вдоль Дуная и существовали порядки, схожие с англосаксонскими, то, по его мнению, эти территории «не играли никакой роли, поскольку они были связаны с такими королевствами, как Франкское или Остготское, а в них «со всей очевидностью существовало прежнее положение вещей».

Пиренн категорически возражает против привлечения данных варварского обычного права при рассмотрении общественного устройства германских королевств. «...Нельзя распространять на Галлию, Италию и Испанию то, что обнаруживается в *Leges Barbarorum* салиев, рипуаров и баваров». По его мнению, поступить иначе — значило следовать «германистской школе». Более того, использование материала варварских правд для Пиренна означает не что иное, как «проецирование на период, предшествующий каролингской эпохе, того, что верно лишь для нее»²⁰². Последнее заявление трудно понять, отвлекаясь от пиренновской концепции перехода в целом. Согласно этой концепции, удельный вес германского элемента в раннесредневековом обществе усиливается только с начала VIII века. Как бы то ни было, Пиренн отвергает исключительно важную группу источников, которые для понимания меровингской эпохи значат гораздо больше, нежели немногочисленные грамоты, привлекаемые им самим для аргументации собственной концепции. Понимая шаткость своих построений для такого общества, как франкское, Пиренн вопреки собственному анализу, проведенному прежде всего на франкском материале, уверяет, что «роль меровингской Галлии преувеличена, и то господствующее положение, которое ей приписывают, она приобрела позднее». «Кто такой Хлодвиг в сравнении с Теодорихом?» — риторически вопрошает Пиренн²⁰³. Налицо стремление Пиренна придать первостепенную важность именно Остготскому королевству, ибо данные о социально-политической структуре этого государства ему сравнительно легче согласовать с собственными построениями относительно преемственности позднеантичных порядков в меровингский период.

Уточняя собственную мысль по поводу того, что изменения на территории стран Западного Средиземноморья происходили только в политической области, Пиренн пишет: «Германские короли были на Западе, в римском мире, распадавшемся в качестве государства, источником политической кристаллизации... Но вокруг них, хотя и с неизбежными потерями, продолжалось прежнее, или, иначе говоря, античное социальное равновесие»²⁰⁴. Этот тезис можно принять за стержневой в системе представлений Пиренна относительно социально-экономиче-

²⁰¹ Ibid., p. 123.

²⁰² Pirenne H. Mahomet et Charlemagne.... p. 124.

²⁰³ Ibid., p. 125.

²⁰⁴ Ibid., p. 125.

ского и политического развития Западной Европы в меровингскую эпоху. Естественно, он не видит разницы между социальным устройством варварских королевств и порядками Византийской империи. Отсюда логично вытекает и его положение о возможной византизации стран Западного Средиземноморья, которая должна была окончательно обеспечить развитие Европы по традиционному, позднеантичному образцу. Пиренн последовательно отстаивает сохранность позднеантичных порядков, их жизнеспособность в меровингский период и возможность эволюции в традиционном русле. «Ни один признак не предвещал конца общности цивилизации, установленной Римской империей»²⁰⁵. Он уверен, что были определенные условия для дальнейшего поступательного развития экономических и социальных устоев позднего Рима. «Ничто не предвещало, что тысячелетняя эволюция должна быть внезапно прервана. Никто не ожидал катастрофы»²⁰⁶. Таким образом, в меровингский период социально-экономический строй Западной Европы, по мнению Пиренна, продолжал в основе своей оставаться позднеантичным.

Подводя итоги рассмотренному, необходимо отметить, что изображаемая Пиренном картина социально-экономической и культурной жизни стран Западной Европы в меровингский период, или, иначе говоря, в первые века раннего средневековья, явно несостоятельна. Основой его построений является активно развивавшийся им тезис о первенствующей роли торговли. Активно доказываемый Пиренном факт сохранения позднеантичной средиземноморской торговли чуть ли не в полном объеме на протяжении всей меровингской эпохи, по его мнению, определил устойчивость всей позднеантичной экономики в это время. Естественно, что он отказывается признать качественное отличие экономики меровингского периода от позднеримской. Пиренн, по существу, не занимается проблемами меровингской аграрной истории, что вполне согласуется с его подходом к явлениям аграрной истории вообще, с его общетеоретическими принципами. Неоспорима узость источниковедческой базы бельгийского историка, основные положения которого аргументируются немногочисленными, субъективно подобранными источниками, к тому же крайне тенденциозно интерпретируемыми.

²⁰⁵ Pirenne H. *Les villes du moyen âge*..., p. 24.

²⁰⁶ Pirenne H. *Mahomet et Charlemagne*..., p. 126.

Л. Н. ХМЫЛЕВ

А. С. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИЙ И ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ

Еще сравнительно недавно источниковедение, как пишет С. О. Шмидт, «считалось только вспомогательной дисциплиной, отодвинутой от волнующих историческую науку больших проблем»¹. В настоящее время в советской исторической науке протекает процесс не только превращения источниковедения из вспомогательной в самостоятельную научную дисциплину, но и выделения в нем специальных отраслей, среди которых прежде всего нужно указать на теоретическое источниковедение. Интерес советских историков к теоретическим проблемам источниковедения, особенно отчетливо обнаружившийся в ходе дискуссии, развернувшейся в 1961—1963 гг. на страницах ряда центральных исторических журналов², несомненно связан с потребностью углубить марксистское понимание основных принципов анализа исторических источников. В решении этой общей задачи немаловажную роль должны сыграть исследования, посвященные анализу становления и развития теоретического источниковедения, в том числе и в немарксистской историографии. Из отечественных дореволюционных специалистов в этой области наибольшего внимания, несомненно, заслуживает А. С. Лаппо-Данилевский.

Как известно, А. С. Лаппо-Данилевский создал целую источниковедческую школу, занимавшуюся отысканием, обработкой и публикацией исторических источников. В рамках этой школы был накоплен большой опыт практического анализа источников. Опираясь на этот опыт, А. С. Лаппо-Данилевский создал богатую по содержанию источниковедческую концепцию, сохранившую определенное научное значение до настоящего времени.

А. С. Лаппо-Данилевский вместе с позитивистами Э. Бернгеймом, Ш.-В. Ланглуа, Ш. Сеньобосом и Э. Мейстером стоял у истоков теоретического источниковедения. Однако источниковедческая концепция, созданная им, значительно опередила позитивистское учение об исторических источниках. Общее значение А. С. Лаппо-Данилевского состояло не только в том, что он поднял на более высокий научный уровень те проблемы, которые обсуждались уже в позитивистском учении об исторических источниках, но и, осознав необходимость гно-

¹ Источниковедение. Теоретические и методические проблемы. М., 1969, с. 7.

² «Вопросы истории», 1961, № 4, 5; «Новая и новейшая история», 1961, № 4, 5, 6; 1962, № 1, 4, 5; «Вопросы истории КПСС», 1962, № 4, 5, 6; 1963, № 1, 2, 3, 5; «История СССР», 1963, № 5; «Вопросы архивоведения», 1961, № 4; «Исторический архив», 1962, № 1, 4; Иванов Г. М. Исторический источник и историческое познание. Томск, Изд-во ТГУ, 1973.

еологического подхода к пониманию источника, открыл в источниковедении неизвестную ранее сферу, придав тем самым разработке теоретических проблем источниковедения новое направление. Гносеологический подход А. С. Лаппо-Данилевского к пониманию исторического источника был связан прежде всего с постановкой всех основных проблем теоретического источниковедения в аспекте проблемы отражения. Этот подход как бы пронизывал всю его источниковедческую концепцию, придавая ей целостный характер. Правомерность такого подхода к пониманию исторических источников в его общем виде не вызывает сомнения³.

Гносеологический подход к пониманию источника, красной нитью проходящий через всю концепцию А. С. Лаппо-Данилевского, был связан с объективными тенденциями развития исторической науки того времени; он был порожден, с одной стороны, усложнением и обогащением приемов источниковедческого анализа, связанным с обращением западной и русской исторической науки к сложным социально-экономическим процессам, а с другой стороны — бурным развитием исторической гносеологии на рубеже XIX—XX столетий.

Гносеологический подход к проблемам теоретического источниковедения наглядно обнаруживался уже в понимании А. С. Лаппо-Данилевским предмета и задач этой дисциплины. Под теоретическим источниковедением, или, говоря его словами, «методологией источниковедения», он понимал такую теоретическую дисциплину, которая, не отождествляясь ни с общей методологией истории, ни с конкретной методикой анализа источников⁴ «устанавливает главным образом те производные принципы и методы, на основании которых историк считает себя вправе утверждать, что факт, известный ему из данных источников, действительно существовал; она рассматривает, что именно источники дают для нашего знания об исторической действительности и в какой мере оно доступно нам при данных условиях»⁵. Такое определение предмета и задач теоретического источниковедения представляется нам правомерным. В этой связи сошлемся на одного из советских специалистов по источниковедению С. О. Шмидта, который писал: «Методология источниковедения (здесь и далее разрядка моя. — Л. Х.) — это учение об этих методах (анализа источников — Л. Х.), об основных принципах источниковедческого анализа»⁶.

Собственно под предметом теоретического источниковедения А. С. Лаппо-Данилевский понимал исторический источник⁷, но не просто как объективно данную историку вещь, а с точки зрения его роли в историческом познании, поскольку, по его мнению, в основу понимания любой проблемы теоретического источниковедения должна быть положена главная цель исторического познания — при помощи источников осознать прошлое⁸. Методология источниковедения, как справедливо замечает А. С. Лаппо-Данилевский, должна представлять

³ Как справедливо отметил Л. В. Черепнин, «с проблемой гносеологии связаны все вопросы источниковедения». («Исторический архив», 1962, № 4, с. 188).

⁴ Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. Вып. I—II, СПб., 1910—1913, с. 339—342.

⁵ Там же, с. 340.

⁶ Источниковедение. Теоретические и методические проблемы, с. 17.

⁷ Архив АН СССР. Ленинградское отделение, фонд 113, оп. 1, ед. хр., 145, л. 145.

⁸ Лаппо-Данилевский А. С. Цит. соч., с. 366. М. А. Варшавчик справедливо считает, что вопрос о месте исторического источника «в структуре исторического исследования» относится к числу важнейших вопросов «логики исторического исследования», (Варшавчик М. А. Вопросы логики исторического исследования и исторический источник. — «Вопросы истории», 1968, № 10, с. 76).

собой теорию источниковедческого познания, способную дать в руки историков научно опробованные и осмысленные методы анализа исторических источников.

В источниковедческой концепции А. С. Лаппо-Данилевского первостепенное значение имело его понимание общей природы исторического источника. Теоретико-познавательный смысл он стремился придать уже самому определению источника, который он понимал как «всякий реализованный продукт человеческой психики, поскольку он представляется историку пригодным для того, чтобы получить знания о каком-либо факте из прошлой жизни человечества»⁹. Именно с этим определением были связаны сильные и слабые стороны его учения об исторических источниках. Это определение включало ряд принципиальных положений.

Следует специально подчеркнуть, что определение исторического источника, данное А. С. Лаппо-Данилевским, было принципиально связано с его общей идеалистической методологией истории. В основе исторического процесса, как он считал, лежит психика, а историческую науку он называл вслед за В. Дильтеем и Г. Риккертом «наукой о духе»¹⁰. Для источниковедческих взглядов А. С. Лаппо-Данилевского этот принцип имел в целом то значение, что исторический источник рассматривался как средство осознания в первую очередь духовной жизни прошлого. В силу этого идеализм пронизывал всю источниковедческую концепцию этого историка. Однако, говоря об идеалистической односторонности источниковедческой концепции А. С. Лаппо-Данилевского, нужно иметь в виду, что при решении конкретных проблем теоретического источниковедения он часто выходил за те узкие рамки, в которые сам стремился втиснуть свое учение об исторических источниках. Источниковедческая концепция А. С. Лаппо-Данилевского была противоречива, тем не менее она включала в себя ряд научно плодотворных положений.

Прежде всего следует отметить, что исторический источник, с точки зрения А. С. Лаппо-Данилевского, выступает как объективно существующая вещь, доступная непосредственному восприятию историка¹¹. Это положение было призвано обосновать возможность осознания историком прошлого при помощи источников. Понимание источника историком как «своего представления», по верному замечанию А. С. Лаппо-Данилевского, сводит на нет возможность осознания прошлого при помощи источников¹².

Одной из наиболее сильных сторон понимания А. С. Лаппо-Данилевским исторического источника был деятельностный подход, определение источника как продукта человеческой деятельности, человеческого творчества в широком смысле слова¹³. Исторический источник он понимал прежде всего как опредмеченное или материализованное содержание человеческой психики, и это до известной степени верно. В практической деятельности человек, по К. Марксу, «удваивает себя уже не только интеллектуально (как это имеет место в сознании), но и реально, деятельно и созерцает самого себя в созданном им мире»¹⁴.

Деятельность А. С. Лаппо-Данилевский понимал как ту сферу

⁹ Лаппо-Данилевский А. С. Цит. соч., с. 374.

¹⁰ Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. Вып. I—II. 1910—1913, с. 118.

¹¹ Там же, с. 366.

¹² Архив АН СССР, ЛО, ф. 113, оп. 1, ед. хр. 145, л. 138.

¹³ Лаппо-Данилевский А. С. Цит. соч., с. 356.

¹⁴ Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г.— К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., 1956, с. 593.

или тот способ, при помощи которого осуществляется отражение прошлой действительности в историческом источнике. Под историческим источником он понимал «непосредственный результат той самой деятельности человека, которую историк должен» познавать¹⁵. Заслужой А. С. Лаппо-Данилевского было не только то, что он осознал связь отражательной природы источника с породившей его деятельностью, но и проанализировал различные способы отражения прошлого в исторических источниках в связи с различными видами деятельности.

Рассматривая один из способов отражения прошлого, А. С. Лаппо-Данилевский имел в виду созидательную деятельность, в процессе которой черты реально существовавшего прошлого переносятся на продукт труда. При этом имелось в виду, что на продукт деятельности переносятся не только черты психики субъекта деятельности, но и особенности самого труда, как объективно существовавшего процесса. Так, например, по внешнему виду предмета (отполированный или обитый камень), как продукта труда, можно судить об орудиях труда¹⁶, о технике изготовления предмета; по форме глиняного сосуда можно говорить о том, «сделан он от руки или при помощи гончарного круга и т. п.»¹⁷. А. С. Лаппо-Данилевский прямо отмечает, что в историческом источнике, как продукте деятельности, отражается не только духовная, но и материальная сторона общественной жизни¹⁸.

Второй способ отражения был связан с тем, что прошлая общественная жизнь, с точки зрения А. С. Лаппо-Данилевского, отражается в источнике не только потому, что он является продуктом деятельности, но и в связи с тем, что он выступает как средство для удовлетворения определенных жизненных потребностей. В историческом источнике «историк может предполагать назначение, состоящее, положим, в удовлетворении какой-либо из ближайших жизненных потребностей данного общества». Например, сосуд предназначен для хранения пищи, икона — для удовлетворения религиозных потребностей и т. д.¹⁹. В целом историк изучает прошлое по источнику, ориентируясь на то, какую роль или функцию исполнял данный материальный остаток в прошлом²⁰. А. С. Лаппо-Данилевский прямо писал, что необходимо изучать источник, принимая во внимание его «функциональную зависимость от местных условий»²¹. При этом имелось в виду не только влияние «местных условий» на источник, но и его влияние на культуру своего времени²².

Еще одним способом отражения прошлого в историческом источнике А. С. Лаппо-Данилевский считал психический способ отражения: социальное событие прошлого отражается в сознании автора источника, а он запечатлевает свои знания в какой-то материальной форме. В данном случае источник понимался как «отражение какого-нибудь

¹⁵ Лаппо-Данилевский А. С. Цит. соч., с. 386. Говоря о значении деятельностного подхода к пониманию источника, один из советских специалистов в области теоретического источниковедения Г. М. Иванов пишет, что «можно принять принцип обусловленности источника деятельности в качестве важнейшего методологического принципа объяснения социальной природы исторического источника». Иванов Г. М. Цит. соч., с. 131).

¹⁶ Лаппо-Данилевский А. С. Цит. соч., с. 446.

¹⁷ Там же, с. 447.

¹⁸ Там же, с. 448.

¹⁹ Там же, с. 426.

²⁰ Там же, с. 440, 442, 443, 447, 466, 486, 502.

²¹ Там же, с. 445.

²² Там же, с. 502. Польский специалист по методологии истории Ц. Бобиньская отмечает, что «понимание функционального значения» источника в жизни общества является одним из основных требований марксистского источниковедения. («Вопросы истории», 1965, № 6, с. 77).

исторического факта» в виде «результата того впечатления, которое он произвел на автора» источника²³.

Принимая во внимание сказанное выше, можно дать правильную оценку определению А. С. Лаппо-Данилевским исторического источника как «продукта человеческой психики». Это положение нельзя истолковывать в том духе, что источник не содержит в себе ничего другого, кроме черт психики своего творца, как считает Г. М. Иванова²⁴. Сам А. С. Лаппо-Данилевский это положение истолковывал в том смысле, что, во-первых, в историческом источнике отражается духовная жизнь прошлого (не одного только автора источника), во-вторых, все остальные стороны прошлой жизни отражаются в источнике как продукты сознательной деятельности через посредство психики.

К тому же исторический источник, с точки зрения А. С. Лаппо-Данилевского, не является в точном смысле слова «продуктом человеческого творчества». «Объективированное человеческое творчество, — писал он, — представляется нам, однако, в виде того или другого социального явления, как продукта человеческого творчества, а памятник — есть как бы отражение его в форме достаточно устойчивой для того, чтобы через посредство ее изучение самого явления стало бы в известной мере возможным. Итак, памятники — не результат объективирования человеческого творчества, а следствие объективирования продуктов человеческого творчества, т. е. социальных явлений»²⁵. Отметим, что термин «памятник» А. С. Лаппо-Данилевский употреблял в данном случае для обозначения источников-остатков. Особенно здесь нужно подчеркнуть, что при определении соотношения памятника и социального явления он прямо использовал понятие отражения.

Понимание источника А. С. Лаппо-Данилевским не ограничивалось определением источника как продукта человеческой деятельности, отражающего в себе содержание прошлого. При определении его он требовал учитывать «телеологический или практический момент», т. е. момент использования остатка прошлого в качестве свидетельства о прошлом. В данном случае определение источника связывалось с его местом и ролью в системе исторического познания. Речь шла о том, что материальный продукт прошлого становится историческим источником только тогда, когда он включается в познавательную деятельность историка. В этой связи А. С. Лаппо-Данилевский отмечал, что «пока историк не подверг данный исторический материал предварительному исследованию, он не может признать его историческим источником»²⁶. «Телеологический или практический момент» в понимании самого этого историка фиксировал ту особенность источника, которая обнаруживается лишь в связи с его ролью в историческом познании. Он справедливо отметил, что материальные остатки прошлого независимо от исторического познания функцией свидетельства не обладают, представляя собой «грудю камней, тряпок, бумажек и т. п.»²⁷.

Таким образом, исторический источник, с точки зрения А. С. Лаппо-Данилевского, должен быть понят в его двойственной природе: с одной стороны, это реально существующий материальный объект, являющийся продуктом прошлой человеческой деятельности, с другой — средство познания прошлого. Исторический источник был осознан А. С. Лаппо-Данилевским с точки зрения и его предметно-социаль-

²³ Лаппо-Данилевский А. С. Цит. соч., с. 387.

²⁴ Иванов Г. М. Указ. соч., с. 31.

²⁵ Архив АН СССР, ЛО, ф. 113, оп. 1, ед. хр. 146, л. 560.

²⁶ Там же, ед. хр. 145, л. 165.

²⁷ Лаппо-Данилевский А. С. Цит. соч., с. 796.

ной, и функциональной природы. Идея о двойственной природе исторического источника органически вошла в марксистскую методологию истории²⁸. Следует, однако, отметить, что признание двойственной природы источника сопровождалось идеалистическими рассуждениями о материальной форме и духовном содержании источника²⁹.

Свое общее понимание исторического источника А. С. Лаппо-Данилевский распространил на основные сферы источниковедения, т. е. на классификацию, интерпретацию и критику источников.

Классификационная система, предложенная А. С. Лаппо-Данилевским, поучительна в том отношении, что она осуществлена в гносеологическом плане, в ней он попытался выделить различные группы источников по их месту, роли в историческом познании, ориентируясь при этом на различный характер отражения прошлого в источниках. Наиболее существенным явилось выделение, во-первых, изображающих и обозначающих источников, во-вторых, остатков и преданий.

Деление исторических источников на изображающие и обозначающие было осуществлено с учетом различных форм отражения прошлого в источниках и соответственно — различия в методах анализа этих двух групп источников. К изображающим источникам он относил такие, которые воспроизводят факты прошлого в формах, приближенных, похожих на формы самих фактов, например склеп или картина склепа, к обозначающим — те, форма которых не имеет ничего общего с формой самих фактов, например, словесное описание того же склепа. Эта специфика форм отражения порождает особые способы восприятия историком фактов прошлого. «При восприятии источника, материальная форма которого изображает факт в его остатках, например, в красках или звуках, историк испытывает впечатления, однородные с теми, какие он испытывал бы, если бы воспринимал самый факт, а не одни только источник...». Иное дело с восприятием обозначающего источника, материальная форма которого представляет собой совокупность символических знаков: «На основании знаков, символизирующих бывший факт в материальной форме, историк должен конструировать в себе его образ для того, чтобы получить возможность приступить к научному исследованию бывшего факта». При восприятии изображающего источника историк строит свое представление о факте из тех элементов, которые присущи самому источнику, «при восприятии же условных знаков ему приходится подставлять под них мысленные образы прежде, чем приниматься за исследование бывшего факта»³⁰.

Деление источников на изображающие и обозначающие перекрещивается, как отмечал А. С. Лаппо-Данилевский, делением их на остатки и предания, в основе которого лежит принцип «степени бли-

²⁸ См.: Кон И. С. *Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли*. М., 1959, с. 232; Долгих Ф. И., Елистьяевский А. В. К итогам VII Международного конгресса архивов. «История СССР», 1973, № 1, с. 22; Шмидт С. О. *Современные проблемы источниковедения*. — «Источниковедение. Теоретические и методические проблемы». М., 1969; Макаров М. К. К вопросу о терминологии в источниковедении истории СССР. — «Труды МГИАИ», т. 17. М., 1963, с. 5; В развернутом виде положение о двойственной природе исторического источника изложено и обосновано в монографии Г. М. Иванова «Исторический источник и историческое познание». (Томск, 1973). В свете всего сказанного выше выглядит существенным упрощением мнение Л. Н. Пушкирева, будто определение, данное А. С. Лаппо-Данилевским, «наглядно иллюстрирует тот тупик, в который зашло русское буржуазное источниковедение к началу XX в.». (Пушкарев Л. Н. *Определение исторического источника в русской историографии XVIII—XX вв.* — «Археографический ежегодник» за 1966 г. М., 1968, с. 85).

²⁹ Архив АН СССР, ЛО, ф. 113, оп. 1, ед. хр. 145, л. 148.

³⁰ Лаппо-Данилевский А. С. *Цит. соч.*, с. 381—382.

зости познающего субъекта, т. е. историка к объекту его изучения»³¹. Существенной особенностью выделения остатков и преданий был учет деятельностной природы источников. «Под остатком культуры, — писал он, — можно разумеать непосредственный результат той самой деятельности человека, которую историк должен принимать во внимание при построении исторической действительности...»³². «Под историческим преданием можно разумеать отражение какого-нибудь исторического факта в источнике...»³³. Соответственно, при восприятии источника-остатка историк получает непосредственное знание о факте, а при восприятии источника-предания историк такого знания не имеет и поэтому должен вначале подвергнуть его анализу, так как не исключено, что его содержание может оказаться вымыслом³⁴.

Показательно, что сам А. С. Лаппо-Данилевский хорошо осознавал гносеологическую природу деления источников на остатки и предания. «Только что указанное деление источников, — пояснял он, — произведено с теоретико-познавательной точки зрения и допускает возможность рассматривать хотя бы один и тот же объективно-данный конкретный источник или в качестве остатка культуры, или в качестве исторического предания». Он прямо писал, что в основе этого деления «лежит различие в точках зрения, с которых исторические источники изучаются, а не различия самих источников»³⁵.

Система классификации исторических источников, предложенная А. С. Лаппо-Данилевским, содержала определенные позитивные моменты и, по справедливой оценке Л. Н. Пушкарева, была «наиболее продуманной и теоретически обоснованной» в русской буржуазной историографии³⁶. В то же время необходимо отметить, что плодотворный опыт классификации источников по способам и формам отражения был связан у этого историка прежде всего с отражением в источниках духовной жизни людей. Это было обусловлено его общей идеалистической позицией.

Другими двумя крупными сферами осознания исторических источников А. С. Лаппо-Данилевский считал интерпретацию и критику. Интерпретация, по его мнению, не исчерпывает всех задач анализа источников, она «стремится выяснить только то значение, которое автор придавал ему, а не то, какое источник имеет для познания исторического факта, сведения о котором почерпаются из источника». Интерпретация «дает возможность, например, одинаково войти в мировоззрение или отдельное показание данного автора, будет ли оно истинным или ложным, и представляет критике решить вопрос, можно ли воспользоваться таким пониманием для построения той именно действительности, которая имеет историческое значение»³⁷. А. С. Лаппо-Данилевский отмечал, что «познавательные цели интерпретации и критики различны»³⁸. Соотношение интерпретации и критики он понимал в том смысле, что первая готовит базу для второй. «Без понимания источника, очевидно, нельзя подвергать его и плодотворной критике...». Все это отнюдь не означало, что интерпретация должна по времени предшествовать критике,

³¹ Там же, с. 385.

³² Там же, с. 387.

³³ Там же, с. 386.

³⁴ Там же, с. 385.

³⁵ Там же, с. 386—387.

³⁶ «История СССР», 1963, № 5, с. 88.

³⁷ Лаппо-Данилевский А. С. Цит. соч., с. 514.

³⁸ Архив АН СССР, ЛО, ф. 113, об. 1, ед. хр. 146, л. 261.

она «должна логически предшествовать критике»³⁹. «Интерпретация — операция более общая, чем критика», — писал А. С. Лаппо-Данилевский. Поэтому историк «может также продолжать интерпретировать источник, хотя бы критика его была закончена»⁴⁰. Интерпретацию он понимал как операцию более широкую и общую потому, что вменял ей в обязанность не только «правильное прочтение документов и понимание того, что хотел сказать автор», как считают С. М. Каштанов и А. А. Курносков⁴¹, но и объяснение содержания источника с учетом влияния на него социальных условий своего времени, личных черт автора, его общественной позиции, влияния самого источника на культуру своего времени, взаимодействия и взаимовлияния между источниками.

Убедительность разграничения А. С. Лаппо-Данилевским задач интерпретации и критики, на наш взгляд, обуславливается двойственной природой исторического источника: интерпретация берет источник прежде всего как исторический факт, т. е. учитывает его предметно-социальную природу, критика — как свидетельство о прошлом, т. е. учитывает его функциональную природу. Не случайно А. С. Лаппо-Данилевский писал, что «в широком смысле можно сказать, что интерпретация состоит в общезначимом научном понимании исторического источника»⁴².

А. С. Лаппо-Данилевский выделял четыре основных метода интерпретации источников: психологический, технический, типизирующий и индивидуализирующий. Основное значение он придавал психологическому методу, что вытекало из его общей идеалистической позиции.

Сущность психологического метода интерпретации источников А. С. Лаппо-Данилевский определял следующим образом: «Психологическое истолкование источников основано, конечно, на принципе признания чужой одушевленности: оно исходит из понятия о чужом сознании, обнаружившемся в данном продукте...»⁴³. Основная задача психологической интерпретации состояла в том, чтобы добиться совпадения мысленного образа историка, воспринимающего материальный образ источника, с мысленным образом автора источника, возникшим у него при восприятии исторического факта и запечатленным им в источнике, т. е. в правильном понимании содержания источника⁴⁴. Такое понимание, с точки зрения А. С. Лаппо-Данилевского, связано с признанием двух особенностей человеческого познания: его единством и целенаправленностью. Первый принцип связан с целостным пониманием источника. С такой точки зрения историк «понимает каждую его часть лишь в ее отношении к целому или другим частям»⁴⁵. Само по себе требование целостного понимания источника не вызывает никакой критики⁴⁶, но у А. С. Лаппо-Данилевского этот правильный вывод сопровождается абстрактной идеалистической фразеологией о сознании вообще. То же можно сказать и о принципе целесообразности. В историческом источнике действительно можно обнаружить

³⁹ Там же, ед. хр. 145, л. 292.

⁴⁰ Там же, л. 293.

⁴¹ «Исторический архив», 1962, № 4, с. 182.

⁴² Лаппо-Данилевский А. С. Цит. соч., с. 408.

⁴³ Там же, с. 114.

⁴⁴ Там же, с. 420.

⁴⁵ Там же, с. 416.

⁴⁶ Говоря о правомерности учета внутренней субъективной логики источника, советский историк А. П. Каждан писал: «Заключенная в источнике внутренняя логика существенна главным образом для восстановления авторской идеологии». Каждый А. П. О работе историка: путь исследования. — «Вопросы истории», 1968, № 11, с. 108).

реализацию какой-то единой цели⁴⁷, о которой он писал, но и этот принцип обосновывался рассуждениями о сознании вообще.

Технический метод интерпретации в изложении А. С. Лаппо-Данилевского носил более научный, характер, чем психологический, поскольку, с его точки зрения, «техническая интерпретация сводится к истолкованию тех технических средств, которыми автор воспользовался для обнаружения своих мыслей и благодаря пониманию которых можно приблизиться и к пониманию смысла или назначения его произведения»⁴⁸. При изложении способов технической интерпретации А. С. Лаппо-Данилевский высказал новую для своего времени мысль о возможности искусственного создания источника, например, первобытной плавильной печи для понимания того, как готовилась бронза⁴⁹. Речь, по существу дела, шла о моделировании применительно к анализу источников⁵⁰.

Технический метод интерпретации, как и психологический, был призван изучать источник вне связи с местом и временем его появления. Эти два метода интерпретации А. С. Лаппо-Данилевский называл рационалистическими, т. е. слишком общими, и дополнял их типизирующим и индивидуализирующим как собственно историческими. В целом типизирующий метод был призван осознать связь источника с эпохой, в которой он возник, индивидуализирующий — с личностью автора источника. Как отмечал А. С. Лаппо-Данилевский, «историк пытается, при помощи типизирующего метода интерпретации, придать толкованию источника более исторический характер: он исходит из понятия о том культурном типе, к которому источник относится, и сообразно с ним понимает его содержание»⁵¹. В рамках типизирующего метода он стремится понять источник как исторический факт, связав его с той эпохой, в которой он возник и под влиянием которой сложилось его содержание⁵². Индивидуализирующий метод, напротив, был призван выяснить индивидуальные особенности автора источника, при помощи этого метода «историк пытается проникнуть в тайники личного творчества автора и даже хочет, в известном смысле, по возможности, лучше его самого понять его произведение»⁵³. В связи с индивидуализирующим методом А. С. Лаппо-Данилевский обосновывал необходимость целостного анализа источников, отметив, что «правило о контексте» является «основным правилом» интерпретации⁵⁴.

Как уже было отмечено, интерпретация, по мнению А. С. Лаппо-Данилевского, дает возможность понять и объяснить содержание источника, критика же устанавливает степень объективности или достоверности его сведений. Критику он делил на два вида: «критику, устанавливающую научно-историческую ценность источника, как факта», и «критику, устанавливающую научно-историческую ценность показаний источника о факте»⁵⁵. Определение подлинности источника

⁴⁷ Лаппо-Данилевский А. С. Цит. соч., с. 426.

⁴⁸ Там же, с. 438.

⁴⁹ Там же, с. 453.

⁵⁰ Как отмечает С. О. Шмидт, выяснение возможностей моделирования применительно к анализу источников является одной из задач источниковедения. (Источниковедение. Теоретические и методические проблемы. М., 1969, с. 22).

⁵¹ Лаппо-Данилевский А. С. Цит. соч., с. 463.

⁵² Нельзя согласиться с мнением О. М. Медушевской, будто А. С. Лаппо-Данилевский «отрывал источник от тех конкретных социально-экономических условий, в которых он возникает, и рассматривал его лишь как продукт индивидуальной человеческой психики». («Труды МГИАИ», т. 24. М., 1966, с. 10).

⁵³ Лаппо-Данилевский А. С. Цит. соч., с. 493.

⁵⁴ Там же, с. 500.

⁵⁵ Там же, с. 524.

было связано с уяснением места и времени его появления, принадлежности определенному автору, с установлением копии и оригинала⁵⁶. Основным способом установления степени достоверности содержания источника А. С. Лаппо-Данилевский считал совпадение данных различных источников об одном и том же историческом факте⁵⁷.

А. С. Лаппо-Данилевский неоднократно подчеркивал сложность исторического познания, его относительный характер, и тем не менее в его источниковедческой концепции отсутствует отрицание объективной истины в исторической науке. В этом отношении является характерной его критика исторического скептицизма по вопросу о случайном характере и ограниченном количестве источников. В этой связи он писал: «Нельзя не заметить, однако, что такой вопрос уже предполагает со стороны историка некоторое знание, хотя бы в самых общих, но и главнейших очертаниях, того целого, по отношению к которому данный материал признается «случайным»; так как само понятие о целом основано на том же материале, то и его «случайность» окажется относительной...»⁵⁸.

В рамках общей эволюции буржуазного теоретического источниковедения А. С. Лаппо-Данилевский находился на грани перехода от позитивистского к неоидеалистическому учению об исторических источниках⁵⁹. Позитивисты обращали главное внимание на исторический источник как на объективно данную историку вещь, подчеркивая его социально-предметную природу, неоидеалисты, учитывая гносеологическую природу исторического источника, сделали отсюда вывод о том, что исторический источник выступает как конструкция историка. А. С. Лаппо-Данилевский принимал во внимание и ту, и другую стороны исторического источника. Его источниковедческая концепция была противоречивой, она включала в себя и идеалистическую ограниченность, и ряд плодотворных положений, что лишнее раз отражало противоречивую природу кризиса русской буржуазной историографии.

⁵⁶ Там же, с. 532.

⁵⁷ Там же, с. 643—648.

⁵⁸ Архив АН СССР, ЛО, ф. 113, оп. 1, ед. хр. 146, л. 522.

⁵⁹ Об эволюции теоретического источниковедения см.: Иванов Г. М. Исторический источник и историческое познание. Томск, Изд-во ТГУ, 1973.

Н. И. СМОЛЕНСКИЙ

К ОЦЕНКЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ «ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» В ИСТОРИОГРАФИИ Л. РАНКЕ

Понятие исторического развития принадлежит к числу коренных понятий историографии немецкого юнкерско-буржуазного историка XIX в. Л. Ранке. Представление об исторической действительности, подверженной ничем не ограниченным качественным изменениям, находящейся в потоке непрерывного движения, воплощалось у него в категории «историческое развитие». Характер применения этого понятия, изображение Ранке развития конкретно-исторических событий не могли не зависеть от понимания им исторического развития в целом. Поэтому проблема исторического развития, в понимании Ранке,— это проблема не только его логики исторического мышления, но и конкретной историографической практики.

Эта проблема, в целом, не получила всестороннего освещения в марксистской и буржуазной исторической литературе, хотя существенные факты, относящиеся к отрицанию Ранке прогресса, к оценке роли духовных факторов в истории и т. д., использованы как в марксистской, так и в современной западногерманской историографии¹. В этой работе автор стремится выяснить содержание данного понятия в связи с пониманием Ранке: а) движущих сил исторического развития и б) соотношения в нем прошлого, настоящего и будущего. Другие аспекты этой проблемы — представление о роли личности и т. д. — здесь не затрагиваются.

Категория развития в историографии Ранке не является идеологически нейтральным средством познания, она глубоко связана с его мировоззрением и потому выражает его социально-классовые позиции как историка. Представление Ранке об источнике, движущих силах общепристорического развития почерпнуто из религиозно-идеалистического мировоззрения, причем речь идет прежде всего не о какой-либо разновидности идеалистической философии, а о протестантизме. С религиозной верой связано представление Ранке не только о первоначальном источнике общепристорического развития, но и о самом характере этого развития, как неотделимом от божественного в него вмешательства. Провиденциальная воля — направляющая сила исторического развития. Божественное в истории — это «таинственное

¹ Вайнштейн О. Л. Леопольд фон Ранке и современная буржуазная историография.— «Критика новейшей буржуазной историографии». М.—Л., 1961; Schilfert G. Leopold von Ranke.— «Studien über die deutsche Geschichtswissenschaft vom Beginn des 19 Jahrhunderts bis zur Reichseinigung von oben». Berlin, 1969; Vierhaus R. Ranke und die soziale Welt. Münster. 1957.

«я» всякого существования...»², оно «проявляется в противоречиях и силах нравственного мира»³. Решающую роль в истории Ранке отводил идеальным, духовным факторам; это находит подтверждение и в его определении конкретных событий, исторической реальности, как «духовной реальности» (*Real-geistig*)⁴. Размышляя о соотношении идеи и действительности, духовных факторов и реальной жизни, Ранке пришел к выводу о том, что внешние формы человеческой истории приходящи. Только дух вечен, утверждал он; его бесконечное развитие в судьбах человеческого рода изображает история как наука. В то же время воплощение духа в реальной истории не является для Ранке чем-то второстепенным, лишенным значения. История как наука, писал он, была бы невозможна, если бы в ее основе не лежал реальный объект истории как формы бытия⁵.

Известное рациональное содержание имеет в этой связи критика Ранке философии Гегеля. «Главное заключается в том, что это представление (Гегеля. — Н. С.) направлено против реальности индивидуального сознания. Согласно этому представлению только мировой дух обладает жизненностью; он один действует в истории, и даже великие личности являются лишь инструментом в его руках, они совершают то, что им самим неведомо и не зависит от их воли. История с этой точки зрения является лишь историей воплощающего себя в действительности божества (*des werdenden Gottes*)»⁶. Следует признать справедливость критики Гегеля за его априоризм, схематизацию исторического процесса, вытекающую из его представления о тождестве идеи и действительности.

Нужно, однако, признать, что и самому Ранке в значительной степени присуще это представление, которое в последовательной и завершенной форме характерно для Гегеля. Он ясно указывает на то, что, по его мнению, лежит в основе реально совершающегося развития исторических событий: «Существуют силы и именно духовные, лежащие в основе жизни, творческие силы, сама жизнь, моральная энергия, которую мы находим в ее (истории. — Н. С.) развитии... Они господствуют над миром, проявляются в многообразных формах, борются друг с другом, ограничивают и подчиняют друг друга; в их взаимодействии и последовательности, в их жизни, в их упадке или возрождении... заключена тайна мировой истории»⁷.

Представление Ранке о духовной основе общеисторического развития не принадлежит только к области чистой теории, отвлеченных размышлений о наиболее общих вопросах бытия, оно оказывало прямое влияние на его историографическую практику. Отсюда вытекало его убеждение об ограниченности познавательных возможностей историка, о недоступности познанию наиболее глубокой сути исторических событий. «Дух нельзя попробовать на ощупь или увидеть воочию; он познается по его последствиям и результатам»⁸. Ограничивалась прежде всего область причинно-следственного объяснения истории, в связи с чем для Ранке приобретали значение донаучные категории —

² Ranke L. *Sämmtliche Werke*. (S. W.). Bd. 31/32, Leipzig, 1878, S. 89.

³ Ranke L. S. W., Bd. 51/52, Leipzig, 1888, S. 572; Ranke L. S. W., Bd. 23/24, Leipzig, 1876, S. 287.

⁴ Ranke L. S. W., Bd. 49/50, Leipzig, 1887, S. 325.

⁵ Ranke L. *Weltgeschichte*. Vierter Band. Leipzig, 1895, S. 508.

⁶ Mühlbe E. *Selbstzeugnisse Rankes über seine historische Theorie und Methode im Zusammenhang der zeitgenössischen Geistesrichtungen*. Berlin, 1928, S. 47.

⁷ Ranke L. S. W., Bd. 23/24, S. 39—40.

⁸ *Ibid.*, S. 287.

догадка, предчувствие и т. д.⁹. «Всемирная история доступна одному богу», — утверждал он¹⁰. К такому выводу он пришел, учитывая возрастание сложности задач историка по мере приближения его к изучению наиболее общих вопросов исторического развития.

Представление Ранке об общей духовной основе исторического развития сочетается с его убеждением о господстве в каждую историческую эпоху духовных тенденций или идей. «Учение об идеях»¹¹ является известной конкретизацией указанного представления; идеи играют роль общего масштаба при изложении и оценке Ранке конкретно-исторического материала. Борьба и смена идей рассматривается им как непосредственная движущая сила исторического развития. Это представление также насквозь проникнуто духом идеализма: «...идеи, лежащие в основе человеческой истории, никогда не воплощают божественное и вечное, являющееся их источником, в полной мере; известное время они полностью жизнеспособны, их духом порождаются новые творения. Однако в этом мире ничто не достигает полного совершенства и потому ничего нет вечного. Когда эпоха исчерпывает себя, на основе разрушения старого возникают новые устремления духовного характера, которые полностью уничтожают старое»¹².

Тенденция, с точки зрения Ранке, — «самое неуловимое, непостижимое, могущественное, непреодолимое в истории. Даже в неразвитой и скрытой форме она повсюду оказывает свое действие, которое вызывает противодействие»¹³. Тенденции содержат в себе нечто от идеалистически понимаемой диалектики общественного развития: действие и противодействие, борьба противоположных начал в истории воплощаются в борьбе тенденций. «Тенденции, — пишет Ранке, — борются друг с другом; поскольку проявляется одна, обнаруживается и ей противоположная»¹⁴. Это соединяется у Ранке прежде всего с представлением о борьбе политических сил в истории.

В отличие от тенденций, присущих каждой исторической эпохе, идея государства имеет всеобщий характер, неотделима от всей истории; изучение борьбы политических сил всегда имеет у Ранке первостепенное значение. Во Франции в период правления Людовика XIV он находит борьбу трех великих политических тенденций: одна связана с господством монархии, направленная против нее тенденция выражает стремление аристократии к прежней автономии. Этому противостоит «народная теория», которая находит степень подчинения аристократии государству недостаточной и стремится к более строгому проведению принципа единства нации¹⁵. Здесь угадывается борьба политических сил позднесредневекового общества — феодальной монархии, стремящейся к централизации, старой феодальной аристократии, стремящейся к сепаратизму, и позиция противника последнего — средневековых городов. Для своего собственного времени Ранке считал основной борьбу сил монархии и народного суверенитета. XIX век

⁹ «Нам всем — божественный порядок вещей, который хотя и нельзя доказать, но все же можно почувствовать». — Цит. по: Dove A. *Ausgewählte Schriften. Vornehmlich historischen Inhalts*. Leipzig, 1898, S. 231.

¹⁰ Mühlbe E. *Selbstzeugnisse Rankes...*, S. 129.

¹¹ Формулировка К. Лампрехта. — Lamprecht K. *Alte und neue Richtungen in der Geschichtswissenschaft*. Berlin, 1896.

¹² Ranke L. *Meisterwerke. Erster Band. Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation*. München und Leipzig, 1914, S. 81.

¹³ Ranke L. S. W., Bd. 9, Leipzig, 1868, S. 183.

¹⁴ Ranke L. S. W., Bd. 46, Leipzig, 1879, S. 76—77.

¹⁵ Ranke L. S. W., Bd. 11, Leipzig, 1869, S. 315. Взаимодействие старых и новых тенденций — сущность переворота 1688 г. в Англии. Ranke L. S. W., Bd. 20, Leipzig, 1876, S. 293—294. О других тенденциях: S. W., Bd. 15, Leipzig, 1875, S. 271; S. W., Bd. 27/28, Leipzig, 1876, S. 538.

он называл периодом революции. «Наше время, — писал Ранке, — отличается одновременно развитием материальных сил и естественных наук, но его характер определяется импульсами революции и тем сопротивлением, которое им оказывается»¹⁶. В конце своей жизни он выражал уверенность в окончательном поражении революционных сил и видел в этом гарантию устойчивого, свободного от всяких катастроф развития мировой истории, залог ее счастливого будущего.

Вопрос о реализации той или иной тенденции в историческом развитии решается в борьбе тенденций между собой. Эта борьба может привести к победе одной из них, и тогда наступает период глубоких изменений. Ранке ссылается в этой связи на конец XVIII в. в истории Франции и Европы. Если же борьба ведется с переменным успехом то одной, то другой тенденции, то ее результатом не являются прочные новообразования¹⁷. Степень реализации той или иной тенденции в исторической действительности зависит, таким образом, от конкретных исторических условий борьбы тенденций. У Ранке стоит за этим известное представление о формах исторической реальности различной степени зрелости, наиболее развитые из этих форм являются для него предпочтительным предметом исторического исследования. Для того чтобы раскрыть сущность революции, утверждал он, надо изучать ее там, где это явление выражено четче всего. Ее можно понять вполне только на примере истории Франции. Франция имела образцовую монархию, и изменения охватили там не только старое правление, но и имели тенденцию положить конец всему государству¹⁸. Справедливо, что во Франции была не только «образцовая» феодальная монархия, но и самая радикальная буржуазно-демократическая революция эпохи капитализма.

Историографическая практика Ранке имеет дело прежде всего с теми периодами, когда историческое развитие принимало форму наиболее интенсивной борьбы общественных, социальных сил, которая воспринималась им прежде всего, как борьба политических сил, где политические отношения, религиозно-политическая борьба достигали значительной степени развития. Это — эпоха реформации в Германии, XVI—XVII столетия в истории Англии и Франции, Пруссия периода буржуазных реформ. Наконец, его «Всемирная история» имеет дело со своеобразными вершинами в политической истории основных цивилизаций (в пределах европоцентристской схемы всемирно-исторического развития).

Ранке признавал необходимость в историческом развитии, этой категорией он пользовался как для объяснения того или иного конкретно-исторического хода событий, так и для понимания общесторического развития в целом. Последняя, высшая необходимость трансцендента, ее природу Ранке объяснял с позиций религиозной веры. Поэтому он неохотно говорил о случайности¹⁹: в решающий момент всегда выступает то, что мы называем случаем или судьбой и что является божественным провидением²⁰. Для обозначения этой необходимости применяется также понятие закона, хотя речь идет не о естественно-научной закономерности и не о закономерности, понимаемой с рационалистических позиций, несовместимых с провиденциализмом. Мировой порядок, утверждает Ранке, основан на моральных законах,

¹⁶ Vierhaus R. Ranke und die soziale Welt. S. 237. Nachlass.

¹⁷ Ibid., S. 116, Anm. 4. Nachlass.

¹⁸ Ibid., S. 237—238. Nachlass.

¹⁹ Не слепая случайность движет историей, а «природа и необходимость событий». — Ranke L. S. W., Bd. 23/24, S. 243.

²⁰ Ranke L. S. W., Bd. 53/54, Leipzig. 1890, S. 665.

которые еще никогда не нарушались без возмездия²¹. С этих же позиций решается вопрос о свободе воли в истории. Возражая против представления Гервинуса о закономерном развитии истории, Ранке, во-первых, отстаивает непосредственное вмешательство сверхъестественных сил в историю, во-вторых, утверждает наличие свободы воли личности²².

При изучении конкретных событий Ранке признает необходимость, не всегда прибегая при этом к провиденциальной воле; необходимость заключена в реальном ходе событий²³. Ранке считает исторической необходимостью наличие противоречий между парламентом и короной с началом правления Карла I²⁴, а противодействие превосходству Людовика XIV²⁵ — европейской необходимостью. Не без известной доли реализма он писал, что отказ действовать в духе всеобщей необходимости ни для кого не проходит безнаказанно²⁶; Стюарты поэтому потеряли свою корону. Напротив, сила Вильгельма III Оранского заключалась в том, что он стал выражением необходимости, которая заключена в событиях²⁷.

Во всех этих и других случаях²⁸ речь идет о необходимости того или иного явления или ситуации, порождаемой общим ходом событий. Взаимосвязь событий в цепи исторического развития приводит к тому, что ход событий, их направленность исторически обусловлены. Необходимость заключена в развитии, в котором проявляется всеобщая связь явлений: в «совокупности исторических тенденций все взаимобусловлено»²⁹, «один момент связан с другим даже в единичных действиях и событиях»³⁰. Речь идет о причинно-следственных связях. «Одновременные явления взаимодействуют друг с другом; предшествующее обуславливает последующее; в этом проявляется внутренняя связь причины и следствия»³¹. Ранке правильно считает, что следствие одновременно является и причиной. Вместе с тем, он имеет в виду некую всеобъемлющую основу, которая во всех событиях объединяет причинно-следственные связи посредством «ничем ненарушимого континуитета»³². В чем же усматривается единство причинно-следственных связей в истории, непрерывность ее развития?

Отвечая на этот вопрос, Ранке указывает, что «эпохи связаны друг с другом прежде всего благодаря великим учреждениям, которые, будучи однажды основаны, существуют, изменяясь в соответствии с потребностями человеческой природы... Ибо поколения, примыкая друг к другу, обладают непрерывностью развития; их признаки повторяются в различных поколениях, хотя это никогда не происходит в полной мере...»³³. К числу учреждений, являющихся основой взаимосвязи и взаимобусловленности исторических событий, принадлежит прежде всего государство³⁴. Если государство гибнет, прошлое не

²¹ Ranke L. S. W., Bd. 10, Leipzig, 1869, S. 415.

²² Ranke L. S. W., Bd. 51/52, S. 571.

²³ Ranke L. S. W., Bd., 11, S. 123.

²⁴ Ranke L. S. W., Bd. 15, S. 181.

²⁵ Ranke L. S. W., Bd. 20, Leipzig, 1876, S. 3.

²⁶ Ibid., S. 15.

²⁷ Ibid., S. 9—10.

²⁸ Ranke L. S. W., Bd. 19, Leipzig, 1876, S. 241; Bd. 20, S. 291; Bd. 25/26, Leipzig, 1876, S. XVI, 330, 332.

²⁹ Ranke L. S. W., Bd. 27/28, S. 538.

³⁰ Ders., Bd. 25/26, S. 54.

³¹ Mühlbe E. Selbzeugnisse Rankes..., S. 126.

³² Ranke L. S. W., Bd. 53/54, S. 291.

³³ Ibid., S. 75—76.

³⁴ Ranke L. S. W., Bd. 23/24, S. 285.

исчезает бесследно. «Если что-то идет к гибели, то оно переплетается с более высокой общностью так, что возникает новая жизнь и новая цепь событий, тесно связанная с предыдущим ходом событий и неотделимая от него»³⁵. Это принцип континуитета Ранке применял в конкретном историческом исследовании. Династия Гогенцоллернов олицетворяет для него непрерывность исторического развития Пруссии³⁶. В Англии эту роль выполняют монархия и аристократия. В период реформации казалось, пишет Ранке, что то и другое будет уничтожено. Но в исторических основах государства жила внутренняя сила, которую нельзя было устранить никаким насилием. Королевская власть сохранилась³⁷. Великая хартия вольностей оценивается как документ, в наибольшей степени соединяющий различные эпохи истории Англии: с обновленными принципами германской личной свободы она, по убеждению Ранке, соединяет сословные права ленного государства, а на том и другом построено гордое здание английской конституции³⁸. Ранке без должных к тому оснований, считает Хартию зародышем конституционного развития Англии. Не останавливаясь на критике этого типичного для буржуазной историографии вообще взгляда, подчеркнем его трактовку Хартии как источника континуитета государственно-политического развития Англии. Развитие, следовательно, понимается как политическое развитие, поскольку основа его непрерывности заключена в государстве. Тесная связь категорий «государство» и «развитие» не подлежит сомнению и вытекает уже из понимания Ранке предмета исторической науки, как преимущественно политической истории.

Историческое развитие Ранке понимал как движение от прошлого через настоящее к будущему. Соотношение этих категорий в различных разновидностях философски-исторического мышления было неодинаковым, но оно всегда важно для понимания характера исторического развития. В философско-исторической мысли Просвещения акцент переносился преимущественно на настоящее и будущее, существовала вера в возможность перерыва в историческом развитии, радикального разрыва с прошлым, в создание таких общественных отношений, которые бы соответствовали разуму и не зависели от прошлого, от истории. Поэтому, например, Вольтер объявлял нелепой случайностью переход к эпохе средневековья. Немецкие просветители, начиная с Гердера, выдвинули идею органического развития как продолжения однажды заложенных в нем начал. Эта идея была воспринята романтической историографией, причем ей был придан реакционный смысл: своеобразным эталоном в историческом развитии считалось прошлое, средневековье, возврат к которому рассматривался как цель. Эти различия в понимании характера исторического развития суть прежде всего различия идеологических позиций, выражение взглядов различных общественных сил.

Ранке в понимании соотношения прошлого, настоящего и будущего исходил из признания непрерывности в историческом развитии, в чем обнаруживается его связь с традициями немецкого философско-исторического мышления; прошлое, настоящее и будущее—качественно отличающиеся, с его точки зрения, эпохи, причем каждая из них выступает как продолжение предыдущей: «Может показаться, что современность можно оторвать от прошлого; но она в каждый момент является составной его частью; неизвестность будущего не должна препятство-

³⁵ Ibid., S. 286.

³⁶ Ranke L. S. W., Bd. 25/26, S. 387.

³⁷ Ranke L. S. W., Bd. 19, S. 235.

³⁸ Ranke L. S. W. Bd. 14, Leipzig, 1875, S. 51.

вать стоять на реальной почве современности, вырастающей из прошлого; прошлое, настоящее и будущее образуют одно единое целое...»³⁹. «Современность, — утверждал Ранке, — предполагает одновременно прошлое и будущее»⁴⁰. Направленный процесс развития от прошлого через настоящее к будущему носит необратимый характер: «Кто хотел бы думать о восстановлении ушедших в прошлое отношений?»⁴¹.

Эти теоретически верные положения нередко приводили Ранке к правильным оценкам тех или иных конкретно-исторических явлений. Элементы реализма есть в его оценке требований Генеральных штатов 1614 г: требования знати — иерархическое прошлое, требования третьего сословия — демократическое будущее, между которыми лежит современность.

Ранке дает уже иную оценку средневековью, чем просветители и романтики. В целом он отвергал представление о тысячелетнем перерыве в развитии культуры, обоснованно не соглашался с просветительской точкой зрения на средние века, как на эпоху варварства и отсталости. С каким более благожелательным отношением, восклицал Ранке, обратился дух XIX века к этим явлениям!⁴². Но эта его симпатия, уже малю что значит по сравнению с ясным осознанием невозможности возврата к средневековым отношениям. Средневековье качественно отличается от всех других эпох, современность или будущее уже не могут породить что-либо аналогичное средневековью. Тайна истории, продолжает Ранке, состоит в том, что каждая историческая эпоха отличается своим характером. «Поэтому наш век познает в средневековье не свои собственные отношения; но он обнаружил в нем свои собственные позитивные предпосылки: мы убеждены, — утверждает Ранке, — что современный мир нельзя понять без изучения того времени»⁴³.

В той общей форме, в которой Ранке выдвигает это положение, против него мало что можно возразить. Оно правильно в той степени, в какой вообще любая историческая эпоха имеет свои предпосылки в эпохе, ей предшествующей. Для Ранке значение средневековья определяется не только тем, что из него вышло. Нужно учитывать, утверждает он, непрерывность духовной жизни и по отношению к предшествующей ему действительности, т. е. только в обоих отношениях обнаруживается подлинное значение средневековья для человечества⁴⁴. Переход от античности к средним векам Ранке рассматривал, таким образом, с позиций континуитета. Непрерывность исторического развития понимается им как сохранение традиций, сущности старого при возникновении нового; только при этом условии имеет место непрерывность в развитии прошлого, современности и будущего⁴⁵. В этом смысле следует понимать его утверждение о том, что всякое действительно всемирно-историческое событие никогда не является голым отрицанием старого⁴⁶. Во всемирно-историческом развитии каждая из эпох — древняя, средневековая и новая — выступает в качестве продолжения другой, хотя и отличается при этом своим собственным ха-

³⁹ Ranke L. Aus Briefwechsel Friedrich Wilhelm IV. mit Bunsen. Leipzig, 1873. S. 192—193.

⁴⁰ Ranke L. S. W., Bd. 49/50, S. 66.

⁴¹ Ranke L. Weltgeschichte. Bd. 4, S. 12.

⁴² Ibid., S. 11.

⁴³ Ibid., S. 12.

⁴⁴ Ibidem.

⁴⁵ Ranke L. Aus dem Briefwechsel..., S. 193.

⁴⁶ Ranke L. Weltgeschichte. Bd. 4, S. 508.

рактором⁴⁷. Сохранить в потоке движения традицию, устойчивую связь и преемственность старого и нового — этим характеризуется прежде всего его понимание исторического развития; в этом состоит «нормальное» развитие истории. Прошлое, исторические традиции — сила, обуславливающая последующий ход событий, заключающая в себе необходимость определенной его ориентации⁴⁸.

В соотношении старого и нового в историческом развитии акцент сдвинут в пользу старого, традиции. В этом смысле Ранке писал, что развитие событий идет по однажды проложенным путям⁴⁹, что в этом развитии сохраняется однажды созданная основа, а важнейшие результаты, к которым пришли предшествующие поколения, передаются от одного поколения к другому. С этих позиций он оценивал развитие культуры⁵⁰, права и правовых учреждений, приближаясь к точке зрения исторической школы права⁵¹, и развитие политических отношений. Политика также не должна противоречить истории, прошлому; Стюарты, непримиримо относясь к протестантизму, обращались произвольно с тем, что устанавливалось «историческим путем»⁵². В таком понимании исторического развития прошлое выступает как консервативная сила, которая может быть использована для оправдания всякого рода отсталых отношений или реакционных политических целей. Поэтому, например, претензии Фридриха II на Силезию имеют под собой, с точки зрения Ранке, древнюю историческую основу, так как католицизм, господствовавший в Австрии, гнал Силезию в руки Пруссии⁵³. Поэтому же Ранке оправдывал путь объединения Германии «сверху», консервативными общественными силами. Господство немецких князей, сохранение за ними императорской короны соответствует традициям прошлого и потому исполнено для Ранке огромного исторического смысла, является залогом самого прочного единства в будущем⁵⁴.

В ранкеанском понимании соотношения прошлого, настоящего и будущего прошлое обладает консервативной силой, предупреждающей или сдерживающей развитие радикальных изменений в истории. Поражение революции 1848 г. в Германии должно было укрепить Ранке в этом воззрении, которое не претерпело каких-либо существенных изменений на протяжении его многолетней научной деятельности. Как итог звучит его, высказанное в конце жизни, убеждение о том, что «старые правовые порядки государств утверждают себя» в противоположность возникшим в 14—15 столетиях демократическим тенденциям, проявляющимся в революциях все более широкого масштаба. Новое возникает в непрерывном потоке движения, сохраняющем верность «своим основам»; нации Западной Европы сохраняют традиции, «из которых они черпают способность к образованию новых форм жизни»⁵⁵.

Политическая деятельность Ранке в качестве публициста в основном им «Историко-политическом журнале» и советника прусского короля в 1848 г. определялась теми же представлениями о континуи-

⁴⁷ Vierhaus R. Ranke und die soziale Welt., S. 242. Nachlass.

⁴⁸ События с необходимостью подготовлены предшествующим и развиваются затем в силу их собственных причин. — Ranke L. S. W., Bd. 19, S. 199.

⁴⁹ Ranke L. S. W., Bd. 46, S. VII.

⁵⁰ Ranke L. Weltgeschichte. II, 2, S. 415.

⁵¹ Ranke L. Ranke und soziale Welt. S. 127, Anm. 50, Nachlass.

⁵² Ranke L. S. W., Bd. 19, S. 143.

⁵³ Ranke L. S. W., Bd. 29, S. 222.

⁵⁴ Ranke L. S. W., Bd. 51/52, S. 577.

⁵⁵ Ranke L. Weltgeschichte, Bd. 4, S. 510.

тете, которые лежат в основе его научно-исследовательской работы. Он воздействовал на общественное мнение с позиций политической системы, возникшей в эпоху реставрации и, выступая против радикальных теорий, стремился придать этим отношениям еще большую политическую стабильность. Он оправдывает систему территориальных княжеств, предостерегая князей против увлечения иностранными образцами. В центре его внимания — прусское государство, исторический характер, тенденцию развития которого он хочет показать читателю⁵⁶. Ранке указывает на настоятельную необходимость отличать «закономерный прогресс от поспешных разрушительных новшеств, разумную нетерпимость от односторонней защиты устаревшего, ставшего нежизнеспособным»⁵⁷. Однако этот политический реализм есть лишь разновидность умеренного консерватизма.

В революции 1848 г. Ранке ставил вопрос о том, что следует предпринять, чтобы сохранить исторический характер прусского государства. Он рекомендовал королю сохранить историческую преемственность, продолжать искать опору трона в «старопруссских силах»; не в меньшей степени выражен призыв к решительной борьбе с идеей народного суверенитета, с радикализмом, опирающимся на массы⁵⁸.

Ранке перешел на позиции юнкерско-буржуазного государства, созданного в 1871 г., не только потому, что такой переход, в известной мере, носил вынужденный характер, но и благодаря его вере в то, что у «Бисмарка стремление к сохранению старого больше, чем к созданию нового...»⁵⁹. В условиях современной ему действительности Ранке стремился предотвратить все то, что, по его мнению, таило угрозу политической стабильности общества: он отвергал всеобщее избирательное право, являлся врагом всякого массового социального движения, страшился «нововведений», которые могли возникнуть на этой почве. Идеино-политические взгляды, сложившиеся у него в период реставрации, оставались, в сущности, его жизненной программой, которая претерпевала изменения лишь под давлением обстоятельств. Переход на позиции поддержки Бисмарка был последним существенным элементом этих изменений: установившийся порядок он рассматривал как окончательный, соответствовавший древним историческим традициям. С надеждой и оптимизмом он смотрел в будущее.

В целом из изложенного следует, что Ранке:

- а) исходил из признания общей духовной основы исторического развития;
- б) был убежден в непрерывности исторического развития, а носителем этой непрерывности считал государство;
- в) занимал консервативные позиции в оценке континуитета, придавая решающую роль в истории прошлому, господству традиций;
- г) в общественно-политической деятельности в условиях современной ему эпохи исходил из тех же представлений о континуитете, что и в научно-исследовательской работе.

⁵⁶ Ranke L. S. W., Bd. 49/50, S. 6.

⁵⁷ Ibid., S. 5.

⁵⁸ Кан С. Б. Немецкая историография революции 1848—1849 гг. в Германии. М., 1962, с. 45—46; Mommsen W. Stein. Ranke. Bismark. Ein Beitrag zur politischen und sozialen Bewegung des 19. Jahrhunderts. München, 1954, S. 145—154; Vierhaus R. Op. cit., S. 173.

⁵⁹ Mommsen W. Op. cit., S. 113.

СОДЕРЖАНИЕ

Б. Г. Могильницкий. О содержании понятия «методология истории»	3
П. Ю. Рахшмир. Социологические и психологические интерпретации фашизма в современной буржуазной науке	16
Н. С. Черкасов. «Левые» национал-социалисты в исторической литературе	30
В. С. Гурьев. «Перспективизм» без перспективы. (Некоторые аспекты философии истории Хосе Ортеги-и-Гассета)	51
Г. К. Садретдинов. Анри Пиренн о переходе от античности к средним векам. Статья первая	71
Л. Н. Хмылев. А. С. Лаппо-Данилевский и проблемы теоретического историкоисследования	108
Н. И. Смоленский. К оценке содержания понятия «историческое развитие» в историографии Л. Ранке	116

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

Выпуск XI

Томск. Изд-во ТГУ, 1976 г. 128 с.

Редактор **А. В. Лисевич**
Технический редактор **Н. А. Невиницына**
Корректор **Т. П. Сергеева**

К304449	Сдано в набор 15/VIII-76 г.	Подписано к печати 22/XI-76 г.
	Формат 70×108 ¹ / ₁₆ ; бум. типографская № 3. П. л. 8; уч.-изд. л. 10,5; усл. п. л. 11,2	
	Заказ 2578	Тираж 500
		Цена 1 руб. 05 коп.

Издательство ТГУ. Томск-29, ул. Никитина, 17
Типография издательства «Красное знамя»,
г. Томск, ул. Советская, 47



Цена 1 руб. 05 коп.

1-454898

Томский госуниверситет 1878



Научная библиотека 00949898